Автобиографическая проза

Марина Цветаева

SHOUT
SHARE
IT

- Марина Цветаева
  - МАТЬ И МУЗЫКА
  - ЧЕРТ
  - МОЙ ПУШКИН
  - ХЛЫСТОВКИ
  - ТО, ЧТО БЫЛО
    - I. ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТ
    - II. ЛИТЕРАТУРА
  - ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА
    - I. ДЕДУШКА ИЛОВАЙСКИЙ
    - II. ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА
  - БАШНЯ В ПЛЮЩЕ
  - СКАЗКА МАТЕРИ
  - МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА III
  - ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК
  - ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ
  - ОТЕЦ И ЕГО МУЗЕЙ
    - I. ШАРЛОТТЕНБУРГ
    - II. МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ГАЗОНА
    - III. МУНДИР
    - IV. ПРИЮТ
    - V. ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК
  - ЖЕНИХ
  - ТВОЯ СМЕРТЬ
  - MADEMOISELLE JEANNE ROBERT[93]
  - ВАНЯ
  - КИТАЕЦ
  - СТРАХОВКА ЖИЗНИ
  - ЧУДО С ЛОШАДЬМИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143

Марина Цветаева
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

МАТЬ И МУЗЫКА

Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере, будет музыкантша». Когда же моим первым, явно-бессмысленным и вполне отчетливым догодовалым словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала», — и тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму: «До, Муся, до, а это — ре, до — ре…» Это до — ре вскоре обернулось у меня огромной, в половину всей меня, книгой — «кингой», как я говорила, пока что только ее «кинги», крышкой, но с такой силы и жути прорезающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то определенном уединенном ундинном месте сердца — жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и оттуда, при малейшем прикосновении, встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая — слезы. Это до — ре (Дорэ), а ре — ми — Реми, мальчик Реми из «Sans Famille»,[1] счастливый мальчик, которого злой муж кормилицы (estopiй,[2] с точно спиленной ногой: pied) калека Pure Barberin сразу превращает в несчастного, сначала не дав блинам стать блинами, а на другой день продав самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его трем собакам: Капи, Зербино и Дольче, единственной его обезьяне — Жоли Кёр, ужасной пьянице, потом умирающей у Реми за пазухой от чахотки. Это ре-ми. Взятые же отдельно: до — явно белое, пустое, до всего, ре — голубое, ми — желтое (может быть — midi?),[3] фа — коричневое (может быть, фаевое выходное платье матери, а ре — голубое — река?) — и так далее, и все эти «далее» — есть, я только не хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои, на них резоны.

Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося «молодец!», холодно прибавляла: «Впрочем, ты ни при чем. Слух — от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я — ни при чем, что слух — от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от само-сомнения, со всякого, в искусстве, самолюбия, — раз слух от Бога. «Твое — только старание, потому что каждый Божий дар можно загубить», — говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и уже из-за этого запоминающей так, что потом уже ничем не выбьешь. И если я этого своего слуха не загубила, не только сама не загубила, но и жизни не дала загубить и забить (а

как старалась!), я этим опять-таки обязана матери. Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросши, не только бы больше понимали, но и тверже поступали. Разъяснять ребенку ничего не нужно, ребенка нужно — заклясть. И чем темнее слова заклятия — тем глубже они в ребенка врастают, тем непреложнее в нем действуют: «Отче наш, иже еси на небесех…»

С роялем — до-ре-ми — клавишным — я тоже сошлась сразу. У меня оказалась на удивительность растяжимая рука. «Пять лет, а уже почти берет октаву, чу-уточку дотянуться! — говорила мать, голосом вытягивая недостающее расстояние, и, чтобы я не возомнила: — Впрочем, у нее и ноги такие!» — вызывая у меня этими «ногами» смутный и острый соблазн когда-нибудь и ногой попытаться взять октаву (тем более что я одна из всех детей умею расставлять на ней пальцы веером!), чего, однако, никогда не посмела не только сделать, но даже додумать, ибо «рояль — святыня», и на него ничего нельзя класть, не только ног, но и книг. Газеты же мать, с каким-то высокомерным упорством мученика, ежеутренне, ни слова не говоря отцу, неизменно и невинно туда их клавшему, с рояля снимала — сметала — и, кто знает, не из этого ли сопоставления рояльной зеркальной предельной чистоты и черноты с беспорядочным и бесцветным газетным ворохом, и не из этого ли одновременно широкого и педантического материнского жеста расправы и выросла моя ничем не вытравимая, аксиомная во мне убежденность: газеты — нечисть, и вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира — месть. И если я когда-нибудь умру под забором, я, по крайней мере, буду знать отчего.

Кроме большой руки, у меня оказался еще «полный, сильный удар» и «для такой маленькой девочки удивительно-одушевленное туше». Одушевленное туше звучало как бархат, и было коричневое, а так как toucher — трогать, выходило, что я рояль трогаю, как бархат: бархатом: коричневым бархатом: кошкой: patte de velours.[4]

Но о ногах я не кончила. Когда, два года спустя после Александра — меня, родилась заведомый Кирилл — Ася, мать, за один раз — приученная, сказала: «Ну, что ж, будет вторая музыкантша». Но когда первым, уже вполне осмысленным словом этой Аси, запутавшейся в голубой сетке кровати, оказалось «ранга» (нога), мать не только огорчилась, но вознегодовала: «Нога? Значит — балерина? У меня — дочь балерина? У дедушки

— внучка балерина? У нас, слава Богу, в семье никто не танцевал!» (В чем ошиблась: был один роковой, в жизни ее матери, бал и танец, с которого все и пошло: и ее музыка, и мои стихи, вся наша общая лирическая неизбывная беда. Но она этого не узнала — никогда. Узнала — я, без малого сорок лет спустя этого ее горделивого утверждения, в Русском Доме Св. Женевьевы — кбк, расскажу в свой срок.)

Годы шли. «Нога», как будто, сбывалась. Во всяком случае, Ася, очень легкая на ногу, на рояле играла ужасно — совершенно фальшиво, но, к счастью, так слабо; что уже из смежной гостиной ничего не было слышно. Боюсь теперь ошибиться, но навряд ли она, добросовестно, до предела растянув руку, брала больше чем от до до фа. Рука (как и нога) была крохотная, удар — мимовой, а туше — мушиное. Все же вместе, когда доходило до уха, резало его, как бритвой (мочку).

— Значит, в Ивана Владимировича, — сокрушенно, но уже смирившись, говорила мать, — у него на редкость никакого слуха. Впрочем, у Асеньки как будто слух есть, и если бы можно было расслышать, что она поет, — может быть, и было бы верно? Но почему она на рояле так фальшивит?

Мать не понимала, что Ася за роялем, по малолетству, просто невыносимо скучает и только от собственного засыпания берет мимо (нот!), как слепой щенок — мимо блюдца. А может быть, сразу брала по две ноты, думая, что так скорее возьмет — все положенные? А может быть (по две), как муха, по недостатку веса не могущая нацелиться на именно эту клавишу? Так или иначе, игра была не только плачевная, но — слезная, с ручьями мелких грязных слез и нудным комариным: и — и, и — и, и — и, от которого все в доме, даже дворник, хватались за голову с безнадежным возгласом: «Ну, завела!» И именно потому, что Ася играть продолжала, мать внутри себя от ее музыкальной карьеры с каждым днем все безнадежнее отказывалась, всю свою надежду вымещая на большерукой и бесслезной мне.

— Нога, нога, — говорила она задумчиво, идя с нами, уже подросшими и тоже стриженными, по стриженому осеннему калужскому лугу, — но что ж, в конце концов балерина тоже может быть порядочной женщиной. Я знала одну, в Сокольниках — у нее даже было шесть человек детей, и она была отличная мать, настолько образцовая, что даже дедушка однажды отпустил меня к ней на крестины… — И уже явно шутя (и мы это

понимали): — Муся — знаменитой пианисткой, Ася (как бы проглатывая)… знаменитой балериной, а у меня от гордости вырастет второй подбородок. — И, вовсе уже не шутя, а с глубокой сердечной радостью и горестью: — Вот мои дочери и будут «свободные художники», то, чем я так хотела быть. (Ее отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла только раз, вместе со стариком Поссартом, за год до его и своей кончины.)

…Но с нотами, сначала, совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиша есть, здесь, вот она, черная или белая, а ноты нет, нота на линейке (на какой?). Кроме того, клавишу — слышно, а ноту — нет. Клавиша — есть, а ноты — нет. И зачем нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды, на заголовке поздравительного листа, данного мне Августой Ивановной для Glьckwunsch'a[5] матери, не увидела сидящих на нотной строке вместо нот — воробушков! Тогда я поняла, что ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши спрыгивают, каждая на свою. Тогда она — звучит. Некоторые же, запоздавшие (как девочка Катя из «Вечерних досугов»: поезд, машб, уходит, а опоздавшие Катя с няней — плачут…) — запоздавшие, говорю, живут над ветками, на каких-то воздушных ветках, но все-таки тоже спрыгивают (и не всегда впопад, тогда — фальшь). Когда все я перестаю играть, ноты на ветки возвращаются и так, как птицы, спят и тоже, как птицы, никогда не падают. Лет двадцать пять спустя они у меня все же упали и даже — ринулись:

> Все ноты ринулись с листа,
> Все откровенья с уст…

Но нот я, хотя вскоре и стала отлично читать с листа (лучше, чем с лица, где долго, долго читала — только лучшее!), — никогда не полюбила. Ноты мне — мешали: мешали глядеть, верней не-глядеть на клавиши, сбивали с напева, сбивали с знанья, сбивали с тайны, как с ног сбивают, так — сбивали с рук, мешали рукам знать самим, влезали третьим, тем «вечным третьим в любви» из моей поэмы (которой по простоте — ее, или сложности — моей, никто не понял) — и я никогда так надежно не играла, как наизусть.

Но помимо всего сказанного, верною не только для меня, но для каждого начинающего, теперь вижу, что мне для нот было просто слишком рано. О, как мать торопилась, с нотами, с

буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним — без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот — хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще… Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить — на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, — и даже давила! — не давая улечься, умяться (нам — успокоиться), заливала и забивала с верхом — впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание — как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь — самое ценное — для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним — нырок в сундук, где, оказывается, еще — всё. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало. (О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи!) Мать точно заживо похоронила себя внутри нас — на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика, — то, чего всегда мало, дважды — мало: как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало — как радия, то, что само есть — недохват всего, сам недохват, только потому и хватающий звезды! — то, чего не может быть слишком, потому что оно — само слишком, весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущий в тоску, горами двигающую.

Мать не воспитывала — испытывала: силу сопротивления, — подастся ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом — теперь — уже ничем не накормишь, не наполнишь. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье — что не удалось, наше — что удалось!

После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом. Чтобы избыть ее дар — мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов.

Знала ли мать (обо мне — поэте)? Нет, она шла va banque, ставила на неизвестное, на себя — тайную, на себя — дальше, на несбывшегося сына Александра, который не мог всего не мочь.

Но все-таки для нот было слишком рано. Если неполные пять

лет вовсе не рано для букв, — я свободно читала четырех, и много таких детей знаю, — то для нот то же неполное пятилетие бесспорно и злотворно — рано. Нотно-клавишный процесс настолько сложнее буквенно-голосового, насколько сложнее сам клавиш — собственного голоса. Образно говоря: можно не попасть с ноты на клавишу, нельзя не попасть с буквы — на голос. И, совсем просто говоря: если между мной и клавиатурой вставали — ноты, то между нотой и мной — вставала клавиатура, постоянно теряемая — из-за нотного листа. Не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне-гадательном смысле играемого такта. Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переведен, иначе — звук пуст. Но когда же мне, пятилетней, чувствовать и это чувство выражать, когда я уже опять ищу: сначала глазами, на линейке, знака, потом, в уме, соответствующей этому знаку — ноты гаммы, потом — пальцем — соответствующей этой ноте клавиши? Выходит игра с тремя неизвестными, а для пятилетнего достаточно — одного, за которым еще, всегда, другое, которое есть только ввод в большее неизвестное, которое за всяким смыслом и звуком, в огромное неизвестное — души. Или уж — надо быть Моцартом!

Но клавиши — я любила: за черноту и белизну (чуть желтизну!), за черноту, такую явно, — за белизну (чуть желтизну!), такую тайно-грустную, за то, что одни широкие, а другие узкие (обиженные!), за то, что по ним, не сдвигаясь с места, можно, как по лестнице, что эта лестница — из-под рук! — и что от этой лестницы сразу ледяные ручьи — ледяные лестницы ручьев вдоль спины — и жар в глазах — тот самый жар в долине Дагестана из Андрюшиной хрестоматии.

И за то, что белые, при нажиме, явно веселые, а черные — сразу грустные, верно — грустные, настолько верно, что, если нажму — точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз — слезы.

И за самый нажим: за возможность, только нажав, сразу начать тонуть, и, пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна, — и даже когда отпустишь!

За то, что с виду гладь, а под гладью — глубь, как в воде, как в Оке, но глаже и глубже Оки, за то, что под рукой — пропасть, за то, что эта пропасть — из-под рук, за то, что, с места не сходя, — падаешь вечно.

За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом прикосновении — и поглотить.

За страсть — нажать, за страх — нажать: нажав, разбудить — всё. (То же самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)

И за то, что это — траур: материнская, в полоску блузка того конца лета, когда следом за телеграммой: «Дедушка тихо скончался» — явилась и она сама, заплаканная и все же улыбающаяся, с первым словом ко мне: «Муся, тебя дедушка очень любил».

За прохладное «ivoire»,[6] мерцающее «Elfenbein»,[7] баснословное «слоновая кость» (как слона и эльфа — совместить?).

(И — детское открытие: ведь если неожиданно забыть, что это — рояль, это просто — зубы, огромные зубы в огромном холодном рту — до ушей. И это рояль — зубоскал, а вовсе не Андрюшин репетитор Александр Павлович Гуляев, которого так зовет мать за вечное хохотание. И зубоскал совсем не веселая, а страшная вещь.)

За «клавиатуру» — слово такое мощное, что ныне могу его сравнить только с вполне раскрытым крылом орла, а тогда не сравнивала ни с чем.

За «хроматическую гамму» — слово, звучавшее водопадом горного хрусталя, за хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, чем грамматическое — что бы ни было, которого и сейчас не понимаю, с которого-то и перестаю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла простой: тупой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За хроматическую, которая тут же, никуда не уходя, ни вправо ни влево, а только вверх, настолько длиннее и волшебное простой, насколько длиннее и волшебное наша тарусская «большая дорога», где можно пропасть за каждым деревом — Тверского бульвара от памятника Пушкина — до памятника Пушкина.

За то, что — это я сейчас говорю — Хроматика есть целый душевный строй, и этот строй — мой. За то, что Хроматика — самое обратное, что есть грамматике, — Романтика. И Драматика.

Эта Хроматика так и осталась у меня в спине.

Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребет, живая лестница, по которой все имеющее во мне разыграться — разыгрывается. И когда играют — по моим позвонкам играют.

…За слово — клавиш.
За тело — клавиш.
За дело — клавиш.

И слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, как Валериины флаконы, и рифмовавшее во мне с желтофиоль, никогда не виденным материнским могильным цветком, с первой страницы «Истории маленькой девочки». И «диез», такое прямое и резкое, как мой собственный нос в зеркале. Labemol же было для меня пределом лиловизны: лиловее тарусских ирисов, лиловее страховской тучи, лиловее сегюровской «Forkt des Lilas».[8]

Бемоль же, начертанный, мне всегда казался тайный знак: точно мать, при гостях, подымет бровь и тут же опустит, этим загоняя что-то мое в самую глубину. Спуском брови над знаком глаза.

Бэкар же был просто — пуст: знак, что не в счет, олицетворенное как не бывало, и он сам был не в счет, и его самого не было, и я к нему относилась снисходительно, как к пустому дураку. Кроме того, он был женат на Бэккере.

Вначале еще смущали верх и низ, верх, который я неизменно ощущала басами, левым, — а низ — дискантом, тонизной, правым концом клавиатуры, беззвучным уже дребезгом, концом звука и началом лака. (Наверху — горы и гром, внизу — букашки, мухи, например, бубенчики, одуванчики, комары, пискари, — такое…) Теперь вижу, что была права, ибо читаем мы слева направо, то есть с начала к концу, а начало никак не может быть низом, который сам по себе есть схождение на нет. (Тонкий звук сходит на нет, а глухой, басовый — ins All.[9] В рояльный лак. В гулы.) Клавишно-вокальное определение верха и низа соответствовало бы европейскому письму.

Но больше всего, из всего ранне-рояльного, я любила —

скрипичный ключ. Слово — такое чудное и протяжное и именно непонятностью своей (почему скрипичный, когда — рояль?) внедрявшееся, как ключом отмыкавшее весь запретный скрипичный мир, в котором, из полной его темноты, уже занывало имя Паганини и горным хрусталем сверкало и грохотало имя Сарразаты, мир, — я это уже знала! — где за игру продают черту — душу! — слово, сразу делавшее меня почти скрипачом. И еще другой ключ: Born, ключ Oheim Kьhlborn: Дядя Струй, из жемчужной струи разрастающийся в смертоносный поток… И еще ключ — другой:

…холодный ключ забвенья,
Он лучше всех жар сердца утолит! —

из Андрюшиной хрестоматии, с двумя неизвестными: «забвенье» и «утолит», и двумя известными: «жар» и «сердце», которые есть — одно.

Слово и вид — лебединый, вид, который я так любовно воспроизводила на нотной бумаге, с чувством, что сажаю лебедя на телеграфные провода.

Басовый же мне ничего не говорил: ни вид, ни звук, и я его втайне презирала. Во-первых, — ухо, простое грубое ухо с двумя дырками, но проткнутыми, — о глупость! не в нем, а рядом — и двумя вместо одной, точно можно в одном ухе носить две серьги и точно, вообще, бывает одно ухо. (Ушной вопрос меня очень интересовал, ибо мать, у которой уши были проткнуты и серьги — висели, называла это варварством, а ее падчерица, институтка Валерия, которая считала это красотой, никак не могла этого проткнутая добиться: то запухали, то зарастали, — так и ходила злая, с шелковинкой.) Слово же «басовый» — просто барабан, бас: Шаляпин. А одна полоумная поклонница (у нее пол-ума, и она все время кланяется!) ставит в двенадцать часов ночи своего трехлетнего Сашу на стол и заставляет его петь, «как Шаляпин». И от этого у него круги под глазами и он совершенно не растет. Нет, бог с басовым! И уже для собственного удовольствия, долбя коленями стул, локтями — стол, ряд чудесных скрипичных, один другого внизу — полнее, вверху — стройнее, — целая вереница скрипичных лебедей!

Но это было письменное, писйцкое, писательское рвение. Музыкального рвения — и пора об этом сказать — у меня не было. Виной, верней причиной было излишнее усердие моей

матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей — себя! С меня, уже писателя — меня, никогда не музыканта. «Отсидишь свои два часа — и рада! Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! „Noch ein wenig!“[10] Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!» Не попросила — никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой — замучила.) Но и в игре была честна, играла без обману два своих положенных утренних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала, — с тем же успехом могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» над нотной этажеркой), но как их глубокому зову — радуясь! Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки («совсем дитя замучили»!) и даже дворника, топившего печку в зале: «Пойди-ка, Мусенька, пробегись!» — и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: «А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу…» Бедный папа! В том-то и дело, что не слышал, ни нас, ни наших гамм, ганонов и галопов, ни материнских ручьев, ни Валериины (пела) рулад. До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал! Ведь когда не играла я — играла Ася, когда не играла Ася — подбирала Валерия, и, покрывая и заливая всех нас — мать — целый день и почти что целую ночь! А знал он только всего один мотив — из «Аиды» — наследие первой жены, певчей и рано умолкшей птицы. «Даже „Боже, царя храни“ не умеешь спеть!» — мать ему, с шутливой укоризной. «Как не могу? Могу! (и, с полной готовностью) Бо-о-же!» Но до «царя» не доходило никогда, ибо мать, с вовсе уже не шутливо, В с истинно-страдальчески-искаженным лицом тут же прижимала к ушам руки, и отец переставал. Голос у него был сильный.

Позже, после ее смерти, он часто — Асе: «Что ты, Асенька, как будто фальшивишь?» — для очистки совести, — заменяя мать.

Нет, несмотря ни на какие соблазны, соболезнования и зовы — играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Рояль у самого окна, точно безнадежно пытаясь в него всем своим слоновым

неповоротом — выйти, и в самое окно, уже наполовину в него войдя, как живой человек — жасмин. Пот льет, пальцы красные — играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Смотрю на кисть, которую в детстве матери нужно было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцените коварство!) севрской чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля, а ныне, в моем — держать в непрерывном движении свободы, в чередовании поклона и заброса, чтобы играющая рука, в совокупности локтя, кисти и концов пальцев, давала пьющего лебедя, и на обороте которой (кисти) голубые жилы, у меня, если нажать, дают явную букву Н — того Николая, за которого, по толкованию немки, я через двенадцать лет выйду замуж, — по француженке же: Henri. Все на воле: Андрюша с папой пошли купаться, мама с Асей «на пеньки», Валерия в Тарусу на почту, только кухарка одна стучит котлетным ножом и я — по клавишам. Или, осень: Андрюша строгает палку, Ася, высунув язык, рисует дома, мама читает «Eckerhardt», Валерия пишет письмо Вере Муромцевой, я одна — «играю». (Зачем??)

— Нет, ты не любишь музыку! — сердилась мать (именно сердцем — сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. — Нет, ты музыку — не любишь!

Нет — любила. Музыку — любила. Я только не любила — свою. Для ребенка будущего нет, есть только сейчас (которое для него — всегда). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малоточностью «пьески». И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тем мужем Николаем или Henri. Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходившей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было «любить музыку». В ней две музыкальных крови, отцовская и материнская, слились в одну, эти две-то ее всю и дали! И она не учитывала, что собственной, певучей, лирической, одностихийной, она сама же противопоставила во мне браком — другую, филологическую и явно-континентальную, с ее кровью, — неслиянную — и неслившуюся.

Мать — залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли — на свет дня!) Мать затопила нас как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не ins Leben, a in die Musik hinein.[11] Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (будущее включая!). Каково же было, после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев (тех самых ундинных, лесноцаревых, «жемчужны струи»), слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома «игранье»? И как я могла не чувствовать к нему отвращенья? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом. (Помню, кстати, что одна из ее самых любимых русских книг была «Слепой музыкант», которым она меня постоянно попрекала, как и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, а позже — Мусей Потаповой, которая меня обскакивала, и кем еще не, и кем только не!..)

Щелк метронома. Есть в моей жизни несколько незыблемых радостей: не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и не слышать метронома. Как это музыкальные уши его переносят? (Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души?) Метроном я, до четырех лет, даже любила, почти так же, как часы с кукушкой, и за то же: за то, что в нем тоже кто-то живет, причем кто — неизвестно, потому что я его, в доме, обновила. Это был дом, в котором я сама хотела жить. (Дети всегда хотят в чем-нибудь немыслимом жить, — так мой сын, шести лет, мечтал жить в уличном фонаре: светло, тепло, высоко, все видно. «А если в твой дом бросят камнем?» — «Тогда я в них буду бросаться огнем!») Но как только я под его методический щелк подпала, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания, как и сейчас боюсь по ночам будильника, всякого равномерного, в ночи, звука. Точно по мою душу идет этот звук! Кто-то стоит над твоей душой, и тебя торопит, и тебя удерживает, не дает тебе ни дохнуть, ни глотнуть, и так же будет тебя торопить и удерживать, когда ты уйдешь, — один в пустой зале, над пустым табуретом, над закрытой рояльной крышкой, — потому что его забыли закрыть — и доколе не выйдет завод. Неживой — живого, тот, которого нет, — того, который есть. А вдруг завод — никогда не выйдет, а вдруг я с табурета — никогда не встану, никогда не выйду из-под тик — так, тик — так… Это была именно Смерть, стоящая над душою,

живой душою, которая может умереть — бессмертная (уже мертвая) Смерть. Метроном был — гроб, и жила в нем — смерть. За ужасом звука я даже забывала ужас вида: стальная палка, вылезающая, как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной. Это была моя первая встреча с техникой и предрешившая все остальные, техника во всей ее свежести, ее стальной букет, ее первый, мне, стальной бутон. О, я никогда не отставала от метронома! Он меня держал — не только в такте, но физически приковывал к табурету. Открытый метроном был лучшей гарантией, что я не оглянусь на часы. Но мать, к счастью, иногда забывала, и никакая моя — ее! — протестантская честность не могла заставить меня напоминанием обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить — так метроном. И не перестал еще идти из глаз моих тот взгляд сладострастной мести, которым я, отыграв и с самым непринужденным видом проходя мимо этажерки, его, через все высокомерие плеча, дарила: «Я — иду, а ты — стоишь!»

Но мимо этажерки я не только проходила, я у нее подолгу стояла. Этажерка была та же библиотека, но — немая, — точно я вдруг ослепла или одурела. Или та же стена отцовских латинских, материнских английских книг, именно стена — непроницаемая: читаю буквы и не понимаю. Настолько ума у меня было, чтобы сознавать, что здесь, в этих коричневых, вожделенно-толстенных и громадных тетрадочных томах — все «жемчужны струи» и моря материнской игры. Но не слышу — глухо! Видит око — да зуб неймет! Тогда, отказавшись, начинаю читать слова:

Opus — Moll — Rubinstein — Нувеллист…

Нотная этажерка делилась на «мамино» и «Лёрино». Мамино: Бетховен, Шуман, опусы, Dur'ы, Moll'и, Сонаты, Симфонии, Allegro non troppo, и Лёрино — Нувеллист. Нувеллист + Романсы (через французское an). И я, конечно, предпочитала «ансы». Во-первых, в них вдвое больше слов, чем нот (на одну нотную строчку — две буквенные), во-вторых, я всю Лёрину библиотеку могу прочесть подстрочно, минуя ноты. (Когда я потом, вынужденная необходимостью своей ритмики, стала разбивать, разрывать слова на слога путем непривычного в стихах тире, и все меня за это, годами, ругали, а редкие — хвалили (и те и другие за «современность») и я ничего не умела сказать, кроме: «так нужно», — я вдруг однажды глазами увидела те, младенчества своего, романсные тексты в сплошных законных тире — и почувствовала себя омытой: всей Музыкой от всякой

«современности»: омытой, поддержанной, подтвержденной и узаконенной — как ребенок по тайному знаку рода оказавшийся — родным, в праве на жизнь, наконец! Но, может быть, прав и Бальмонт, укоризненно-восхищенно говоря мне: «Ты требуешь от стихов того, что может дать — только музыка!») Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот — книги. Только жаль, что такие короткие. Распахнешь — и конец.

Вот Дивный Терем, с нарисованной зеленой вроде-дачей на ходулях и таинственной, колышками, вкось, надписью: «Посвящается Ее Высочеству Великой Княжне (не помню какой) ко дню возвращения (а может быть, и отбытия) Ее Августейшего Жениха, Принца (забыла — какого)». «Дивный терем стоит — И хором много в нем…» Помню ожигавший и заливавший меня ликованием возглас: «Он вернется, жених!» — точно все спасение мира было в том, чтобы жених — вернулся, обещание, от музыки становившееся обетованием, звучавшее совсем как: «Благословен грядый во имя Господне!» — и, одновременно заливавшее меня тоскою — так, точно не вернется жених. Этот магический удар по мне Дивного Терема — те же острые верхи тоски! — я потом узнала в Нибелунгах и, целую жизнь спустя, в бессмертном эпосе Зигрид Ундсет. Это была моя первая встреча с Скандинавским Севером. «Жених» же мне почему-то представлялся летящим на ковре-самолете, или просто Змеем-Горынычем, во всяком случае чем-то воздушным, с неба падающим на ту самую гору. И — как продолжение этой горы — в другом уже романсе: «Милые го-оры, мы возврати-имся…» Что это значило? И кто сочинил эти страшные слова, кроме которых ничего не помню, да, кажется, ничего и не было. Кто (да еще мы, во множественном!) утешает горы, что — возвратится? Может быть, те самые Ее Высочество с Змеем-Горынычем, улетающие со своей горы — царствовать? Во всяком случае, для романса — слова странные, и как Святополк-Мирский говорил, «теряюсь в догадках». Достоверно одно: страсть моя к горам и тоска на ровном месте, дикие для средне-россиянки, — оттуда. Горы во мне начались с тоски по ним и даже с тоски — их — по мне:

ведь я же им в утешение пела, что «возвратимся»!

А вот еще, и тоже с картинкой, которую Валерия по многу раз перерисовывала акварелью в альбомы своим институтским подругам: темно-коричневая старуха с одной серьгой, в большом клетчатом, как у нашей матери, платке, а нос и подбородок сходятся так, что как раз еще успеешь просунуть нож, — Ворожея.

Погадай-ка мне, старушка,
Я давно тебя ждала.
И косматая, в лохмотьях,
К ней цыганка подошла.

— Лохматая, в космотьях! — как во все горло пел Андрюша, только и ждавший, чтобы певица попала на эту строку. Пение кончалось погоней, а песня — что любит. «Да, сказал цветок ей темным, сердцу внятным языком. На устах ее — улыбка, в сердце — радость и гроза…»

Всю эту Лёрину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда, забывшись, при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» — «В сердце радость и гроза». — «Что это значит?» — Я, уже тихо: «Что в сердце радость и гроза». — «Что? Что?» — мать, наступая. Я, уже совсем тихо (но твердо): «Гроза — и радость». — «Какая гроза? Что значит — гроза?» — «Потому что ей страшно». — «Кому ей?» — «Которая подошла к старушке, потому что старушка — страшная. Нет, это старушка — подошла». — «Какая старушка? Ты с ума сошла!» — «Из Лёриной песни. Одна барышня обдирала маргаритку и вдруг видит: старушка — с палкой… Это называется „Ворожйя“ (ударяю на предпоследнем слоге). Мать, так же: „А что значит Ворожйя“?» — «Я не знаю». Мать, торжествующе: «А, вот, видишь, не знаешь, а говоришь! Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лёриных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на ключ!» — мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно-непонимающему отцу. Пользуясь отводом, скрываюсь в недосягаемость лестницы, но уже с половины ее: «На устах ее улыбка, в сердце радость и гроза… Тб-та, тб-та, тб-та, тб-та… Он глядит в ее глаза…» — Так, из-под самого метронома, из-под самого его, полированного, носа лились на меня потоки самой бестактной лирики. А иногда я, застигнутая, просто — врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась…) «Что ты опять тут делаешь?» — «Я смотрю на метроном». — «Что значит „смотрю на метроном“?» Я, с противоестественным восторгом: «Он такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя): Желтый!» Мать, уже смягченная: «На метроном нужно не смотреть, а слушать». Я, уже на верху спасательной лестницы, разрываясь между желанием и ужасом быть услышанной, громким, но шепотом: «Мама, а я в Лёриных нотах рылась! А метроном — урод!»

К Лёриному репертуару относились еще все ноты ее матери, все эти оперы, и арии, и аранжировки, тоже со словами, но непонятными (пению училась в Неаполе) и с подавлявшим меня количеством ненавистных мне надлинейных трижды и четырежды перечеркнутых нот. «Нувеллист» же я, за детскую простоту нотного начертания, полную его доступность моей детской несостоятельности — презирала: столько белых и никаких перечерков, — точно взяли один материнский нотный лист и рассыпали (как кур кормят!) на целый год «Нувеллиста», — так, чтобы на каждую страницу хоть немножко попало, — почти что мой «Леберт и Штарк», — только с педалью. Педаль мне, кстати, была строго воспрещена. «От земли не видать, а уже педаль! Чем ты хочешь быть: музыкантом или (проглатывая „Лёру“)… барышней, которая, кроме педали да закаченных глаз… Нет, ты сумей рукой дать педаль!» Давала — ногой, но только в отсутствие матери, но зато так подолгу, что уже не понимала: уже я (гужу) или — еще педаль? (представлявшаяся мне, кстати, золотой туфелькой — Plattfuss[12] — Золушки!). Но у педали была еще одна — словесная родня: педель, педель студенческих сходок, педель, забравший на сходке нашего с Асей до собачьего вою любимого Аркадия Александровича (Аркаэксаныча), Андрюшиного репетитора. Педелем вызвано второе мое в жизни стихотворение:

Все бегут на сходку:
Сходка где? Сходка — где?
Сходка будет на дворе.

Педель, мнившийся мне огромным, выше всего этого двора, и забирающий студентов (Аркаэксанычей) свыше, огромной раскоряченной лапой, как Людоед — мальчиков с пальчиков. Людоед — но так как это все-таки университетский служитель — то весь в медалях. И, конечно, такой же один, как педали — две. Но, назвав педеля, не могу не упомянуть его словесной родни: пуделя, белого ученого Капи из «Sans Famille», который рвет педеля за панталоны — тогда педель Аркаэксаныча выпускает, — и их общей, педеля и педали, словесной родни, двоюродной сестры падали, той падали, которой пахнет — одну секунду — и каждый раз — и безумно сильно — в бузине, у самого подступа к нашей тарусской даче, падали, от детства и Тарусы такой родной и мной-самой, что каждый раз, как это слово слышу — оборачиваюсь.

Но возвратимся на мой мученический табурет. Табурет был, как все, должно быть, но я-то тогда не знала, что все такие, и даже не знала, что есть еще такие, это был табурет, вещь в доме без себе подобных, магическая, ибо из всех вещей именно она требовала, чтобы я сидела смирно, а сама — вертелась! На своей рубчатой шее, так напоминавшей ощипанную индюшачью. Вывернешь ее до предела и ждешь не без волнения, что вот «голова», ослабнув, качнется и совсем отвалится. Но помню и отвал другой головы — собственной, когда, вжавшись руками в сидение и ногами помогая, обмирая от близящейся сладкой тошноты, не раз, не два, а весь винт ввысь и затем вниз — до отрыва головы, рвущейся с шеи, как шар с крутимой палки.

«А-а-а! опять завертелась! — тихо вошедший и безмолвно наблюдавший Андрюша, с злорадством глядя на мое зеленое лицо. — Давай перочинный нож, а то маме скажу, как ты тут без нее своих Лебертов и Штарков играешь. (Пауза.) Дашь нож?» — «Нет». — «Так вот тебе Леберт! — Так вот тебе Штарк!» И, уверяю, удар был вовсе не staccat'ный.

Андрюша на рояле не учился, потому что был от другой матери, которая пела, и вышло бы вроде измены: дом был начисто поделен на пенье (первый брак отца) и рояль (второй), которые иногда тарусскими поздними вечерами и полями в двухголосом пении, Валерии и нашей матери — сливались. Но как сейчас слышу материнское сдавленно-исступленное «ох» в ответ на Валериино, часами, «подбиранье» и «напеванье», как сейчас вижу искажение всего ее лица и рук на каком-нибудь особенно-выразительном, при помощи педали, аккорде, или на особенно-высокой, при помощи полузакрытых глаз и вертикального подбородка, ноте, за которой вот-вот начнется тот ужасный безголосый сухо-горловой крик, сравнимый по нестерпимости только с внезапно ожившим и заигравшим под языком зубным нервом, — крик, за который можно убить.

Но, возвращаясь к совершенно непричемному, непевшему и неигравшему Андрюше: Андрюшиному роялю воспротивился сам его дед Иловайский, заявивший, что «Ивану Владимировичу в доме и так довольно музыки». Бедный Андрюша, затертый между двумя браками, двумя роками: петь мальчиков не учат, а рояль — мейновское (второ-женино). Бедный Андрюша, на которого не хватило: — ушей? свободной клавиатуры? получаса времени? просто здравого смысла? чего? — всего и больше всего — слуха. Но вышло как по-писаному: ни из Валериных горловых

полосканий, ни из моего душевного туше, ни из Асиных «тили-тили» — ничего не вышло, из всех наших дарований, мучений, учений — ничего. Вышло из Андрюши, отродясь не взятого на наш горделивый музыкальный корабль, попавшего в нашем доме в некое междумузыкальное пространство, чтобы было гостям и слугам, а может быть, и городовому за окном — на чем отдохнуть: на его немоте. Но по-особому вышло, и двойной запрет сбылся: ни петь, ни играть на рояле он не стал, но, из Андрюши став Андреем, сам, самоучкой, саморучно и самоушно, научился играть сначала на гармонике, потом на балалайке, потом на мандолине, потом на гитаре, подбирая по слуху — все, и не только сам научился, еще и Асю научил на балалайке, и с большим успехом, чем мать на рояле: играла громко и верно. И последней радостью матери была радость этому большому красивому, смущенно улыбающемуся неаполитанцу-пасынку (оставленному ею с гимназическим бобриком), с её гитарой в руках, на которой он, присев на край ее смертной постели, смущенно и уверенно играл ей все песни, которые знал, а знал — все. Гитару свою она ему завещала, передала из рук в руки: «Ты так хорошо играешь, и тебе так идет…» И, кто знает, не пожалела ли она тогда, что тогда послушалась старого деда Иловайского и своего молодого второ-жениного такта, а не своего умного, безумного сердца, то есть забывши всех дедов и жен: ту, первую, себя, вторую, нашего с Асей музыкального деда и Андрюшиного исторического, не усадила: меня — за письменный стол, Асю — за геркулес, а Андрюшу — за рояль: «До, Андрюша, до, а это ре, до — ре…» (из которого у меня никогда ничего не вышло, кроме Dorй, Gustav'a…).

Но замечаю, что я еще ничего не сказала о главном действующем лице моего детства — самом рояле. (Золотыми буквами «Бэккер», — Royale a queue). Но рояль не один. В каждом играющем детстве: раз, два, три — четыре рояля. Во-первых — тот, за которым сидишь (томишься и так редко гордишься!). Во-вторых, — тот, за которым сидят — мать сидит — значит: гордишься и наслаждаешься. Не «как сейчас вижу» — тбк сейчас уже не вижу! — как тогда вижу ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную, даже в письме и в игре отброшенную голову, на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч на выдвижных боковых досочках. И еще раз ту же голову — в одном из парных стоячих зальных зеркал, в зеркальной его вертикали над рояльной горизонталью, ту же голову, но с невидимой нам стороны (тайна зеркала, усугубленная тайной профиля!) — в отвесном зеркальном

пролете, отдаляющем ее от нас на всю непостижимость и недостижимость зеркала, голову матери, между свеч от зеркала делающуюся — почти елкой!

Третий и, может быть, самый долгий, — тот, под которым сидишь: рояль изнизу, весь подводный, подрояльный мир. Подводный не только из-за музыки, лившей на голову: за нашим, между ним и окнами, заставленные его черной глыбой, отделенные и отраженные им как черным озером, стояли цветы, пальмы и филодендроны, подрояльный паркет превращавшие в настоящее водное дно, с зеленым, на лицах и на пальцах, светом, и настоящими корнями, которые можно было руками трогать, где как огромные чуда беззвучно двигались материнские ноги и педали.

Трезвый вопрос: почему цветы стояли за роялем? Чтобы неудобнее поливать? (С матери, при ее нраве, бы сталось!) Но от этого соединения: рояльной воды, и воды леечной, рук матери, играющих, и рук, поливающих, попеременно льющих то воду, то музыку, рояль для меня навсегда отождествлен с водою, с водой и зеленью: лиственным и водным шумом.

Это — материнские руки, а вот — материнские ноги. Ноги матери были отдельные живые существа, вне всякой связи с краем ее длинной черной юбки. Вижу их, вернее, одну, ту, что на педали, узкую, но большую, в черном, бескаблучном башмаке на пуговках, которые мы зовем глазами мопса. Потому они и прюнелевые (prunelle des yeux[13] — мопса). Нога черная, а педаль золотая, и почему это для матери она правая, а для меня левая? Как это она сразу — правая и левая? Ведь если бы нажать отсюда, то есть из-под рояля, лицом к коленям матери, она бы оказалась левой, то есть короткой (по звуку). Почему же у матери она выходит правая, то есть звук — тянет? А что, если я одновременно с материнской ногой нажму ее — рукой? Может быть, получится длинно-короткая? Но длинно-короткая значит никакая, значит — ничего не получится? Но тронуть ногу матери я не смею, это мне, собственно, и в голову не могло прийти.

«Еще доказательство твоей немузыкальности!» — восклицала мать, после целого часа игры (из которой выходила потерянная, как пловец из слишком долгой и бурной воды, никого и ничего не узнавая), после часовой игры, наконец, обнаружившая, что мы весь час сидели под роялем: Ася — вырезая из картонного листа телесных девочек и их поштучное приданое, я — думая про

правую и левую, а чаще ничего не думая, как в Оке. Андрюша под роялем скоро перестал сидеть; у него вдруг так выросли ноги, что он непременно попадал ими в ноги матери, которая тогда вставала и усаживала его за книги, которые он ненавидел, потому что ему только их и дарили — именно потому, что ненавидел — для того чтобы любил. И еще потому, что у него от чтения сразу шла кровь носом. Так что, из инстинкта самосохранения, под рояль не лез, а неподвижно сидел на своем штекенпферде[14] в арке залы, показывая нам с Асей кулаки и языки. «Музыкальное ухо не может вынести такого грома! — уже гремела мать, совершенно меня оглушая. — Ведь оглохнуть можно!» (Молча: «Это-то мне и нравится!» Вслух же:) «Так лучше слышно!» — «Лучше слышно! Барабанная перепонка треснуть может!» — «А я, мама, ничего не слышала, честное слово! — торопливо и хвастливо, Ася. — Я все думала про этот маленький, маленький, ма-аленький зубчик!» В полном чистосердечии суя матери под нос безукоризненной резки кукольные панталонные фестоны. — «Как, ты вдобавок еще острыми ножницами резала! — мать, совсем сраженная. — Frdulein, где вы? Одной лучше слышно, а другая ничего не слышала, и это дедушкины внучки, мои дочери… О, господи!..Н, замечая уже дрожащие губы своей любимицы: — Асеньке — еще простительно… Асенька еще маленькая… Но ты, ты, которой на Иоанна Богослова шесть лет стукнуло!»

Бедная мать, как я ее огорчала и как она никогда не узнала, что вся моя «немузыкальность» была — всего лишь другая музыка!

Четвертый рояль: тот, над которым стоишь: глядишь и, глядя, входишь, и который, в постепенности годов, обратно вхождению в реку и всякому закону глубины, тебе сначала выше головы, потом по горло (и как начисто срезая голову своим черным краем холодней ножа!), потом по грудь, а потом уже и по пояс. Глядишь и, глядя, глядишься, постепенно сводя сначала кончик носа, потом рот, потом лоб с его черным и твердым холодом. (Почему он такой глубокий и такой твердый? Такая вода и такой лед? Такой да и такой нет?) Но, кроме попытки войти в рояль лицом, была еще простая детская шалость: надышать, как на оконное стекло, и на матовом, уже сбегающем серебряном овале дыхания успеть отпечатать нос и рот, которые: нос — выходит пятачком, а рот — совершенно распухшим, точно пчела всюду укусила! — в глубоких продольных полосках, как цветок, и вдвое короче, чем в жизни, и вдвое шире и который сразу исчезает, сливаясь с

чернотой рояля, точно рояль мой рот — проглотил. А иногда я, за недостатком времени, с оглядкой на все выходы залы: в переднюю — раз, в столовую — два, в гостиную — три, в мезонин — четыре, откуда, из всех сразу, могла выйти мать, просто рояль целовала — для холода губ. Нет, можно войти дважды в ту же реку. И вот, с самого темного дна, идет на меня круглое пятилетнее пытливое лицо, без всякой улыбки, розовое даже сквозь черноту — вроде негра, окунутого в зарю, или розы — в чернильный пруд. Рояль был моим первым зеркалом, и первое мое, своего лица, осознание было сквозь черноту, переведением его на черноту, как на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, оттуда увидеть.

И, наконец, последний рояль — тот, в который заглядываешь: рояль нутра, нутро рояля, струнное его нутро, как всякое нутро — тайное, рояль Пандориного: «А что там внутри?» — тот, о котором Фет, во внятной только поэту и музыканту, потрясающей своей зрительностью строке:

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали…

Не те аллегорические «струны души», а настоящие, рукой мастера протянутые и которые рукой можно тронуть, проследить от серебряных закрепок до обутых в красный бархат молоточков, Hdmmerlein im Kdmmerlein,[15] чем-то — гриммовских, чем-то гномовских. Рояль торжественных дней, карет, ротонд, Великого Созвездия Люстры, рояль больших четырехручных состязаний, римской квадриги — рояль! — редкостный его лик, когда он, поставленный дыбом крышкой, сразу обращался в арфу, а озерная его несомутимая гладь в струнную, бурей или богатырем низложенную изгородь Жар-Птицы — только задень, и что пойдет! Рояль, от которого утром, как от всякого ночного чуда, не оставалось ни следу!

Но чтобы ничего не обидеть в моем старом друге-недруге: Notenpult, полный пюпитр, та изгородь из неживых цветов — между волей и мной, — черные деревянные лакированные цветы, в шмелиные, змеиные, малинные дни заменявшие мне, увы, цветы полевые! Нотный пюпитр, который можно класть так, чтобы нотная тетрадь лежала, как в обмороке, — и ставить так, чтобы висела над тобой, как утес, ежесекундно грозя разразиться ужасающей клавишной кашей. Рояльный пюпитр с освободительным треском его окончательного закрытия.

И еще — сама фигура рояля, в детстве мнившаяся мне окаменелым звериным чудовищем, гиппопотамом, помнится, не из-за вида, — я их никогда не видала! — а из-за звука, гиппопо (само тулово), а хвост — там. А потом, с переводом вещей на человеческое — пожилой мужской фигурой тридцатых годов: тучный, но bien pris dans la taille,[16] несмотря на громоздкость — грация, тот опытный, немолодой, непременно — фрачный танцор, которого девушки, только взглянув, предпочитают самому воздушному и военному. А еще лучше — дирижер! ярко-черный, плавный, без лица, потому что всегда спиной, — и полный чар. Поставь рояль дыбом, и будет дирижер! И, оставив и танцора, и дирижера: ведь рояль только вблизи неповоротлив на вес — непомерен. Но отойди в глубину, положи между ним и собой все необходимое для звучания пространство, дай ему, как всякой большой вещи, место стать собой, и рояль выйдет не менее изящным, чем стрекоза в полете. Горы только на тебя давят, и единственная возможность их с себя снять — либо отойти, либо взойти. Взойди на рояль. Руками взойди. Как мать всходила.

Чтобы дать, хоть немножко, ее игру — три случая. Когда мы с ней, в самый разгар ее первого туберкулезного приступа, приехали в Нерви, была уже ночь и играть нельзя было. Так мы и заснули, мы с Асей не увидев моря, она — не испробовав рояля. Зато с утра она, совсем больная, всю дорогу лежавшая, сразу встала — и села. Через несколько минут — стук в дверь. На пороге черный сладкий брюнет в котелке. «Позвольте представиться: д-р Манжини. А вы, если не ошибаюсь, — синьора такая-то, моя будущая пациентка? (речь шла на затрудненном французском). Я проходил мимо и слышал вашу игру. И должен предупредить вас, что если вы будете так продолжать, вы не только сама сгорите, но весь наш Pension Russe — сожжете». И, с неизъяснимой усладой, уже по-итальянски: «Geniale… Geniale…» Играть он ей, конечно, надолго запретил.

Второй случай — уже на возвратном пути в Россию — умирать. Где-то, кажется в Мюнхене, она — все то же, куда бы мы ни прибывали, — только умывшись с дороги и даже не переодевшись, сразу пошла к роялю. И вот, видим с Асей, как какой-то мальчик, старше нас, должно быть, лет четырнадцати, ярко-розовый и весь отливающий волосяным золотом, все подъезжает к ней на стуле, к ней: к ее рукам и кипящим из-под них звукам, пока, наконец, неловким движением, как совершенно сонный, не свалился ей под ноги вместе со стулом, то есть

попросту — под рояль. Мать, ничего не замечавшая, тут сразу все поняла: без всякой улыбки помогла ему выбраться и, опустив ему на голову руку, тут же не отводя ее, чуть погладила ему лоб, точно вчитываясь. (Сын Александр.) Нужно сказать, что из всех присутствующих, а присутствовали — все те же, куда бы мы ни прибывали — все, никто не засмеялся. (Ибо мальчик так же просто — с тем же полуоткрытым ртом — и с тем же стулом — мог бы свалиться на горячую печь — или в львиный ров.) Мы же с Асей отродясь знали, что глупо смеяться, когда другой падает: ведь Наполеон — тоже упал! (Я даже, в своем максимализме, шла дальше: глупо, когда не падает. Идет и не падает — вот дурак!) Никогда не забуду своей матери с чужим мальчиком. Это был самый глубокий, за всю мою жизнь, поклон.

— Мама (это было ее последнее лето, последний месяц последнего лета) — почему у тебя «Warum»[17] выходит совсем по-другому?

— Warum — «Warum»? — пошутила с подушек мать. И, смывая с лица улыбку: — Вот когда вырастешь и оглянешься и спросишь себя, warum все так вышло — как вышло, warum ничего не вышло, не только у тебя, но у всех, кого ты любила, кого ты играла, — ничего ни у кого — тогда и сумеешь играть «Warum». А пока — старайся.

Последнее — смертное. Июнь 1906 года. До Москвы не доехали, остановились на станции «Тарусская». Всю дорогу из Ялты в Тарусу мать переносили. («Села пассажирским, а доеду товарным», — шутила она.) На руках же посадили в тарантас. Но в дом она себя внести не дала. Встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной пелерине, которую пелериной заказала, чтобы не мерить рукавов.

— Ну посмотрим, куда я еще гожусь? — усмехаясь и явно — себе сказала она. Она села. Все стояли. И вот из-под отвычных уже рук — но мне еще не хочется называть вещи, это еще моя тайна с нею…

Это была ее последняя игра. Последние ее слова, в той, свежего соснового тесу, затемненной тем самым жасмином пристройке, были:

— Мне жалко только музыки и солнца.

После смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще учительницы. Но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней из страху и дпя ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого — всем было все равно, верней: только ей одной мое нестарание было бы страданием — а страх, страх исчез от сознания, что ей оттуда (меня всю) видней… что она мне меня — такую, как я есть — простит?

Учительницы моих многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре ахать перестали, а потом уж и по-другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы — следы материнских морей — во мне навсегда остались.

Жила бы мать дальше — я бы, наверное, кончила Консерваторию и вышла бы неплохим пианистом — ибо данные были. Но было другое: заданное, с музыкой несравненное и возвращающее ее на ее настоящее во мне место: общей музыкальности и «недюжинных» (как мало!) способностей.

Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать.

1934

ЧЕРТ

Связался черт с младенцем

Черт жил в комнате у сестры Валерии, — наверху, прямо с лестницы — красной, атласно-муарово-штофной, с вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти неподвижно крутилась пыль.

Начиналось с того, что меня туда зазывали: «Иди, Муся, там тебя кто-то ждет», либо: «Скорей, скорей, Мусенька! Там тебя ждет (протяжно) сюрпри-из». Таинственность чисто условная, ибо я-то отлично знала, чту это за «кто-то» и какой это сюрприз, и зазывавшие знали, что — знаю. Были это — либо Августа Ивановна, либо Асина няня, Александра Мухина, иногда и какая-нибудь гостья, но всегда — женщина, и никогда — мать, и никогда — сама Валерия.

И вот, полуподталкиваемая, полу — комнатой — втягиваемая, поломавшись перед дверью, как деревенские перед угощением, немножко боком и немножко волком — входила.

Черт сидел на Валерииной кровати, — голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога или у остзейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. Черт сидел так смирно, точно его снимали. Шерсти не было, было обратное шерсти: полная гладкость и даже бритость, из стали вылитость. Теперь вижу, что тело у моего черта было идеально-спортивное: львицыно, а по масти — догово. Когда мне, двадцать лет спустя, в Революцию, привели на подержание дога, я сразу узнала своего Мышатого.

Рогов не помню, может быть, и были маленькие, но скорей — уши. Чту было — хвост, львицын, большой, голый, сильный и живой, как змей, грациозно и многократно перевитый вокруг статуарно-недвижных ног — так, чтобы из последнего переплета выглядывала кисть. Ног (ступни) не было, но и копыт не было: человеческие и даже атлетические ноги опирались на лапы, опять-таки львицыно-договы, с крупными, серыми же, серого рога, когтями. Когда он ходил — он стучал. Но при мне он никогда не ходил. Главными же приметами были не лапы, не хвост, — не атрибуты, главное были — глаза: бесцветные, безразличные и

беспощадные. Я его до всего узнавала по глазам, и эти глаза узнала бы — без всего.

Действия не было. Он сидел, я — стояла. И я его — любила.

По летам, когда мы переезжали на дачу, Черт переезжал с нами, верней уже оказывался — в полной сохранности пересаженного деревца, с корнями и с плодами — сидящим на Валерииной кровати, в ее тарусской, узкой, желобом вылетавшей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной, дикой в июле, чугунной печки. Когда на Валерииной кровати сидел Черт, казалось, что в комнате вторая чугунная печь, а когда не сидел — чугунная печь в углу выглядела им. Общими были: масть с серо-синим по чугуну отливом лета, полный лед: печи — летом, подпотолочный рост — и полная неподвижность. Печь стояла так смирно, точно ее снимали. Она его всем своим холодным корпусом замещала, и я с особой усладой тайного узнавания прижималась к ней стриженым, горячим от лета, затылком, читая Валерии вслух запрещенные матерью и поэтому Валерией разрешенные — в руки данные — «Мертвые Души», до которых — мертвецов и душ — так никогда и не дочиталась, ибо в последнюю секунду, когда вот-вот должны были появиться — и мертвецы и души — как нарочно слышался шаг матери (кстати, она так никогда и не вошла, а всегда только, в нужную минуту — как по заводу — проходила) — и я, обмирая от совсем уже другого — живого страха, пихала огромную книгу под кровать (ту!). А в следующий раз, отыскав глазами место, с которого шагом матери была согнана, обнаруживалось, что их уже нет, что они уже опять отъехали вперед — на какое-то место, как раз на то место, с которого опять буду согнана. Так я до мертвых душ никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после, ибо никакая моральная страшность (физическая уютность) героев Гоголя никогда не совпала во мне с простой страшнотой названия: не удовлетворила во мне страсти страха, разжигаемой страшностью названия.

…Оторванная от книги, я прижималась к печке, красной щекой к синему чугуну, жаркой щекой — к ледяному. Но к нему — только в образе печки, к нему — тому — никогда. Впрочем, все же — да, но это потому что на руках и через реку.

Купаюсь ночью в Оке. Не купаюсь, а оказываюсь — одна, на середине Оки, не черной, а серой. И даже не оказываюсь, а просто, сразу, тону. Уже потонула. Начнем сначала: тону на

середине Оки. И когда уже совсем потонула и, кажется, умерла — взлет (который знаю с первой секунды!) — я — на руках, высоко над Окой, голова под небом, и несут меня «утопленники», собственно — один и, конечно, совсем не утопленник (утопленник — я!), потому что я его безумно люблю и совсем не боюсь, и он не синий, а серый, и жмусь к нему всем своим мокрым лицом и платьем, обняв за шею — по праву всякого утопающего.

Шагаем с ним по водам, то есть шагает — он, я — еду. А другие («утопленники» — или кто? Его подвластные) громко и радостно, где-то под низум — во-оют! И, ступив на другой берег — тот, где дом Поленова и деревня Бёхово — он, с размаху ставя меня на землю, с громовым — так и гром не грохочет! — смехом:

— А когда-нибудь мы с тобой поженимся, черт возьми!

О, как мне тогда, в младенчестве, это нравилось: «черт возьми» — из его уст! Как до глубины живота ожигало это молодечество! Перенес по водам, и, как самый обыкновенный мужик — или студент — «черт возьми!», — точно он может этого бояться — или желать, — точно его, или меня на его руках, — вообще может взять черт! И никогда меня не омрачила мысль, что это — для меня из снисхождения к моему малолетству, точка над i собственной identitй,[18] чтобы я не ошиблась, что он — действительно — он. Нет, он просто играл — в простого смертного, что «я не я и лошадь не моя».

Нужно сказать, что, за ошеломляющим — из его уст — «черт возьми», само обещание «мы с тобой когда-нибудь поженимся» несколько отходило на задний план, но когда я, усладившись возгласом во всех его, во мне, отзвуках, сама несколько отходила — о, нестерпимость этого триумфа! Он, без всякой моей просьбы, сам… Он со мной — поженится! На совершенно мокрой, маленькой…

И вот, однажды, не выдержав одинокого триумфа, уже угрызаясь, но остановить потока — не в силах:

— Мама! Мне сегодня снились… утопленники… Будто они меня взяли на руки и несли через реку, а тот, главный утопленник, мне сказал: «Мы с тобой когда-нибудь поженимся, черт возьми!»

— Поздравляю! — сказала мать. — Я тебе всегда говорила! Хороших детей через пропасть переводят ангелы, а таких, как ты…

Боясь, что она догадалась и сейчас назовет и этим навек пресечет, я, торопливо:

— Но это, правда, были утопленники, самые-совершенные, синие…

И в распухнувшее тело
раки черные впились!

— И ты находишь, что это — лучше? — иронически сказала мать. — Какая гадость!

Но была у меня с ним, кроме рассказанных повторных встреч, — типа встреч, одна-единственная — неповторившаяся. Меня, как всегда, заманивают в Валериину трехпрудную комнату, но не один кто-то, а много, — целый шепчущий и тычущий пальцем круг: тут и няня, и Августа Ивановна, и весной, с новой травой возникающая сундучно-швейная Марья Васильевна, и другая Марья Васильевна, с лицом рыбы и странной фамилией Сумбул, и даже та портниха, у и от которой так пахнет касторкой (кумачом) — и все они, в голос:

— Скорей, Мусенька, скорей, там тебя кто-то ждет…

Как всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, — мнусь. Наконец вхожу. И — о, ужас! Пусто. На кровати — никого. Его на постели — нет. Одна красная комната, полная солнца и пыли. Комната — одна, как я — одна. Без него.

Остолбенев, перехожу глазами от пустой кровати к жар-птицыной ширме (за которой его, наверно, нет, ибо не будет же он играть в прятки!), от ширмы к книжному шкафу, — такому странному: где вместо книг видишь себя, и даже к шкафчику с — как няня говорит — «безделюшками», от «безделюшек» к явно пустому красному дивану с пуговицами, втиснутыми в малиновое мальвовое мясо атласа, от атласа к белой, в синюю клетку, печке, увенчанной уральским хрусталем и ковылем… В том же столбняке шагаю к окну, из которого видны те деревья: серые ивы вокруг зеленой церкви, серые ивы моей тоски, местонахождения которых в Москве и на земле я так никогда и не узнала и не

попыталась узнать.

С сосущим чувством: обману-ул! — стою, упершись лбом в первый низкий квадрат окна, жгу себе глаза удерживаемыми слезами, и опустив, наконец, глаза, чтобы отпустить, наконец, слезы… — на ватном дне окна, между двумя рамами, в зеленоватом стекле, как в спирту! — целая россыпь крохотных серых скачущих, страшно-веселых, вербных, с рожками-с-ножками, все окно превративших в вербную чертикову бутыль.

Вежливо улыбнувшись, как на слишком младенческую игрушку, и постояв сколько нужно, чтобы не обидеть — не их, бессмысленно-скачущих и меня знать-не-знающих, а — того, немножко утешенная, немножко обиженная, в последний раз проверив пустующую кровать — выхожу.

— Ну как? Ну как? — с гримасами и ужимками няня. Августа Ивановна, две Марьи Васильевны, портниха Марья Игнатьевна и еще три нафталинных монашки, которые, при особых обстоятельствах времени и места, дико щекоча, запихивают меня в Валериин красный сундук за перегородкой.

— Ничего. Спасибо. Очень хорошо, — я, нарочито-медленно и напряженно-непринужденно проходя сквозь их тянущиеся и несмеющие руки. (Проходя и не глядя, вижу, что Августа Ивановна не очень уж похожа, и у няни почему-то из угла рта висит язык…)

Чертики в окне и страхобесие у двери не повторились. Что это было? Простая замена, оттого что сам не мог прийти, — или искус, испытание взрослости и верности: променяю ли я, пятилетняя, его, настоящего и единственного, на то вербное множество? То есть, встав спиной к пустой — им — кровати, не стану ли попросту — играть?

Нет, с игрой было кончено! Дьявол моего младенчества мне, среди много другого, оставил в наследство: неизбывное, как догов зевок, от всего, что игра: «Ску-учно!»

Почему Черт жил в комнате Валерии? Тогда я об этом не думала (а Валерия так никогда и не узнала). Это было так же просто, как то, что я живу в детской. Папа живет в кабинете, бабушка на портрете, мама на рояльном табурете, Валерия в Екатерининском институте, а Черт — в комнате Валерии. Тогда

это был факт.

А теперь — знаю: Черт жил в комнате Валерии, потому что в комнате Валерии, обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла, плоды которого — «Девочки» Лухмановой, «Вокруг света на Коршуне» Станюковича, «Катакомбы» Евгении Тур, «Семейство Бор-Раменских» и целые годы журнала «Родник» я так жадно и торопливо, виновато и неудержимо пожирала, оглядываясь на дверь, как те на Бога, но никогда не предав своего змея. («Это тебе Лёра дала?» — «Нет, сама взяла».) Черт в Валериину комнату пришел на готовое место: моего преступления — материнского запрета.

Но было еще — другое. В Валерииной комнате мною, до семи лет, тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать, были прочитаны «Евгений Онегин», «Мазепа», «Русалка», «Барышня-Крестьянка», «Цыганы» — и первый роман моей жизни — «Anaпs». В ее комнате была любовь, жила — любовь, — и не только ее и к ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, записки, пачули, спиритические сеансы, симпатические чернила, репетиторы, репетиции, маскирования в маркиз и вазелинение ресниц — но тут остановка: из глубокого колодца комода, из вороха бархаток, кораллов, вычесанных волос, бумажных цветов, на меня — глазами глядят! — серебряные пилюли.

Конфетки — но страшные, пилюли — но серебряные, серебряные съедобные бусы, которые она почему-то так же тайно — загораживаясь спиной и лбом в комод — глотала, как я — лбом в шкаф — «Жемчужины русской поэзии». Однажды меня озарило, что пилюли — ядовитые и что она хочет умереть. От любви, конечно. Потому что ей не дают выйти замуж — за Борис-Иваныча или Альсан-Палча? Или за Стратонова? Или за Айналова? Потому что ее хотят выдать замуж за Михаил-Иваныча Покровского!

«Лёра, а мне можно съесть такую пилюлю?» — «Нет». — «Почему?» — «Потому что тебе не нужно». — «А если съем — я умру?» — «Во всяком случае, заболеешь». Потом (чтобы успокоить читателя) обнаружилось, что пилюли — самые невинные, contre les troubles[19] и т. д. — самые обычные барышнинские, но никакая нормальность их применения не вытравила из меня странного образа желтолицей молодой девушки, тайно наедающейся из комода сладкого ядовитого серебра.

Но не только ее семнадцатилетний пол царил в этой комнате, а вся любовность ее породы, породы ее красавицы-матери, любви не изжившей и зарывшей ее по всем этим атласам и муарам, навек-продушенным и недаром так жарко — малиновым.

А не приходил ли Черт к самой Валерии? Ведь она-то не знала, что он ко мне приходит, так же и я могла не знать, что он — к ней. (Бескровное смуглое лицо, огромные змеинодрагоценные глаза в венце чернейших ресниц, маленький темный сжатый рот, резкий нос навстречу подбородку, — ни национальности, ни возраста у этого лица не было. Ни красоты, ни некрасоты. Это было лицо — ведьмы.) И все же — нет. Нет, ибо она после Екатерининского института поступила на Женские курсы Герье в Мерзляковском переулке, а потом в социал-демократическую партию, а потом в учительницы Козловской гимназии, а потом в танцевальную студию, — вообще всю жизнь пропоступала. Первая же примета его любимцев — полная разобщенность, отродясь и от-всюду — выключенность.

Нет, Черт никакой Валерии не знал. Но он и матери моей не знал, такой одинокой. Он даже не знал, что у меня есть мать. Когда я была с ним, я была — его девочка, его чертова сиротиночка. Черт в меня, как в ту комнату, пришел на готовое. Ему просто нравилась комната, тайная красная комната — и тайная красная девочка в столбняке любви на пороге.

Но одна моя встреча с ним, как ни странно, произошла через мать, через…

«Красный карбункул, — провозгласила мать. — Что такое „Красный карбункул“? Ну, ты, Андрюша!» — «Не знаю», — твердо ответил он. «Ну, что тебе кажется?» — «Ничего не кажется!» — так же твердо ответил он. — «Но как это может быть, чтобы ничего не казалось! Всегда — кажется! И тебе — кажется! Кар-бун-кул. Ну?» — «Карболка?» — равнодушно предложил Андрюша. Мать только рукой махнула. «Ну, а ты, Асенька? Только вслушайся внимательно: кар-бун-кул. Неужели тебе ничего не представляется?» — «Пред-ставляется!» — слегка преткнувшись, но с большим апломбом выпалила ее любимица. «Ну — что же?» — с страстной жадностью ухватилась мать. «Только не знаю — что!» — с той же быстротой и апломбом — Ася. «Ах нет, Асенька, ты, должно быть, действительно, слишком мала для такого чтения. Мне это дедушка читал, когда мне было уже семь лет, а тебе только пять». — «Мама, мне тоже уже семь!» — наконец не

выдержала я. «Ну и что же?» Но не последовало — ничего, потому что я уже опять оробела. «Ну, а по-твоему, что такое карбункул? Красный карбункул?» — «Такой красный графин?» — упавшим голосом, обмирая от надежды, спросила я (Karaffe, Funkeln[20]). «Нет, но ближе. Карбункул — это красный драгоценный камень, по бокам (кар-бун-кул) — граненый. Поняли?»

Все шло хорошо до Зеленого. Кто-то приходит — не то в погребок, не то в пещеру. «А Зеленый уж там, и сидит он и карты тасует». — «Кто такой Зеленый? — спросила мать, — ну, кто всегда ходит в зеленом, в охотничьем?» — «Охотник», — равнодушно сказал Андрюша. «Какой охотник?» — наводяще спросила мать.

> Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
> Gib sie wieder her!
> Gib sie wieder her!
> Sonst wird dich der Jaeger holen
> Mit dem Schieassgewehr,
> Sonst wird dich der Jaeger holen
> Mit dem Schiess-ge-we-ehr! — [21]

с полной готовностью пропел Андрюша. «Гм… — и намеренно минуя меня, уже и так же рвущуюся с места, как слово с уст. — Ну, а ты, Ася?» — «Охотник, который ворует гусей, лисиц и зайцев», — быстро срезюмировала ее любимица, все младенчество кормившаяся плагиатами. «Значит — не знаете? Но зачем же я вам тогда читаю?» — «Мама! — в отчаянии прохрипела я, видя, что она уже закрывает книгу с самым непреклонным из своих лиц. — Я — знаю!» — «Ну?» — уже без всякой страсти спросила мать, однако закладывая правой рукой захлопывание книги. «Зеленый, это — der Teufel![22]» — «Ха-ха-ха!» — захохотал Андрюша, внезапно распрямляясь и сразу нигде не умещаясь. «Хи-хи-хи!» — угодливо залилась за ним Ася. «Нечего смеяться, она права, — сухо остановила мать. — Но почему же der Teufel, а не… И почему это всегда ты все знаешь, когда я всем читаю?!»

———

От Зеленого и «тасует», а отчасти и от маминой горничной Маши Красновой, все ронявшей из рук: подносы, сервизы, графины — и даже целых судаков под соусами! ничего не умевшей держать в руках, кроме карт, я к семи годам

пристрастилась к картам — до страсти. Не к игре, — к ним самим: ко всем этим безногим и двуголовым, безногим и одноруким, но обратно-головым, и обратно-руким, самим себе — обратным, самим от себя отворотным, самим себе изножным и самим с собою незнакомым высокопоставленным лицам без местожительства, но с целым подданством одномастных троек и четверок. Что тут было в них, или, как Ася — ими играть, когда они сами играли, сами и были — игра: самих с собою и самих в себя. Это было целое живое нечеловеческое по-поясное племя, страшно-властное и не совсем доброе, бездетное и бездедное, не живущее нигде, как на столе или за щитком ладони, но тогда и зато — с какой силой! Что в дюжине — двенадцать яиц, этому меня учили — годы, но что в каждой масти — тринадцать карт и что тринадцать — чертова дюжина — с этого бы меня не сбили даже в самом сонном сне. О, как сразу я, так медленно усваивавшая четыре правила — усвоила четыре масти! Как с первого раза я, до сего дня не уверенная в значении деепричастия и, вообще, назначении грамматики, усвоила значение каждой карты: все эти дороги, деньги, сплетни, вести, хлопоты, марьяжные дела и казенные дома — значение карты и назначение карт. Но больше всего, даже больше бубнового неженатого короля, моего жениха через девять лет, даже больше пикового короля, — грозного, тайного, — Лесного Царя, как я его звала, даже больше червонного валета сердца и бубнового валета дорог и вестей (дам я, вообще, не любила, у всех у них были злые, холодные глаза, которыми они меня, как знакомые дамы — мою мать, судили), больше всех королей и валетов я любила — пиковый туз!

Пиковый туз у Маши был удар, и удар — был, удар занесенным черным вверх глядящим сердцем конца алебарды — в сердце. Пиковый туз был — Черт! И когда та же Маша, сняв положенные мне, бубновой, ибо незамужней, даме нб сердце карты и открывши последнюю, сердечную, сама пугалась: «Ай-ай-ай, Мусенька, плохое твое дело, а под самым низом-то — удар! Ну, ничего, может, еще никто не помрет — да кому и помирать? Дедушка — померли, старого больше у нас никого — значит, мамаша заругает или опять с Густыванной подерешься», — я, со всем превосходством знания, со всей непоколебимостью тайны: «Это не удар, — а — секрет». Удар был — привет. Удар по мне привета. Удар по мне радости и страха: любви. Так я, несколько лет спустя, в генуэзском Нерви, нечаянно завидев из окна гостиницы «Beau-Rivag» и направляющегося к ней: в ней заточенным нам с Асей — революционера «Тигра», испугалась от

радости — так, что швейцарская бабушка, испуганно: «Mais, qu'as-tu donc? Tu es toute blanche! Mais, qu'as-tu donc vu?».[23] Я, внутри рта: «Lui».[24]

Да, туз был — Lui. Он, сгустившийся до черноты и сократившийся до клинка. Он, собравшийся в удар, как тигр — в прыжок. Позже и этого стало много, позже удар с сердца, на котором лежал, перешел — в сердце. Изнутри меня — шел, толкая — на все дела.

Но был у меня, кроме пикового туза, еще один карточный Он, и на этот раз не от русской Маши, а от дерптской Августы Ивановны, непосредственно с его баронской родины, и уже не гадание, а игра, общеизвестная детская игра с немножко фамильярным названием «Der schwarze Peter».[25]

Игра состояла в том, чтобы сбыть другому с рук пикового валета: Шварцего Петера, как в старину соседу — горячку, а еще и нынче — насморк: передать: наградив, избавиться. Сначала, когда карт и играющих было много, никакой игры, собственно, не было, вся она сводилась к круговой манипуляции карточным веером — и Петером, но когда, в постепенности судьбы и случая, стол от играющих и играющие от Черного Петера — очищались, и оставалось — двое, — о, тогда игра только и начиналась, ибо тогда все дело было в лице, в степени твердокаменности его. Прежде всего, это была дисциплина дыхания: не дрогнув вынести каждое решение — и перерешение — то схватывающей, то спохватывающейся, и вновь промахивающейся, и вновь опоминающейся партнеровой руки. Дело берущего было — не взять, дающего — сдать. Берущего — почуять, дающего — сбыть, сбить другого с верного чутья, внушить всем своим изолгавшимся существом — другое: что черное — красное, а красное — черное: Шварцего Петера держать с невинностью шестерки бубен.

О, какая чудесная, магическая, бестелесная игра: души — с душою, руки — с рукою, лица — с лицом, всего — только не карты с картой. И, конечно, в этой игре я, с младенчества воспитанная глотать раскаленные угли тайны, в этой игре мастером была — я.

Не буду говорить то, чего не было, ибо вся цель и ценность этих записей в их тождественности бывшему, в тождестве того, признаюсь, странного, но бывшего ребенка — самому себе. Просто было бы сказать и естественно было бы мне поверить, что

я моего Черного Петера соседу совсем не подсовывала, а, наоборот, — отстаивала. Нет! Я в этой игре оказалась его настоящей дочерью, то есть страсть игры, то есть — тайны, оказывались во мне сильней страсти любви. Это была еще раз моя с ним тайна, и никогда, может быть, он так не чувствовал меня своей, как когда я его так хитростно и блистательно — сдавала — сбывала, еще раз мою с ним тайну — скрывала, и, может быть, главное, — еще раз умела обойтись — даже без него. Чтобы все сказать: игра в schwarze Peter была то же самое, что встреча с тайно и жарко любимым — на людях: чем холоднее — тем горячее, чем дальше — тем ближе, чем чуждее — тем мойе, чем нестерпимее — тем блаженнее. Ведь когда Ася, и Андрюша, и Маша, и Августа Ивановна — для которых это входило в игру — с гиканьем и тыканьем в живот, как бесы кривляясь и носясь вокруг меня, орали: «Schwarze Peter! Schwarze Peter!» — я даже отыграться не могла: даже одной хотя бы улыбкой из всей заливавшей меня тайной радости. Задержанный аффект радости бросался в руки. Я дралась. Но зато — с высоты какой убежденности, с какой через-край наполненностью я, додравшись, роняла им в веселые лица: «Я — Schwarze Peter, зато вы — ду-раки».

Но так же трудно, если не еще трудней, как не просиять лицом от Шварцего Петера, было не потемнеть лицом, когда в руке, вместо наверного его — вдруг — шестерка бубен, пара к уже имеющейся, уводящая меня из игры и Черным Петером оставляющая — другого. И плясать вокруг шварце-петринской Августы Ивановны с преступными, издевательскими, предательскими криками: «Schwarze Peter! Schwarze Peter!» — было, может быть, еще большим геройством (или усладой), чем каменным, а затем и дерущимся столбом стоять среди беснующихся «победителей».

Может быть, я эту игру рассказала слишком бестелесно? Но что тут было рассказывать! Ведь действия не было, вся игра была внутри. Были только жесты рук, жест сбрасываемой карты, важной только, как пара: тем, что ее можно было сбросить. Без козырей, без ставок, без взяток, без (самоценности) королей, дам, валетов, — карт, с колодой, состоящей только из одной карты: него! — которого нужно было сбыть. Игра не взять хотящая, а отдать. В этой игре, по ее бесплотности и страшности, действительно было что-то адово, аидово. Убегание рук от врага. Так друг другу, в аду, смеясь и трясясь, сбывают горящий уголь.

Смысл этой игры — глубок. Все карты — парные, он один-один, ибо его пара до игры — сброшена. Всякая карта должна найти свою пару и с ней уйти, просто — сойти со сцены, как красавица или авантюристка, выходящая замуж, — со стола всех еще возможностей, всеможности, единоличных и, может быть, исторических судеб — в тихую, никому уже не любопытную, не нужную и не страшную стопу отыгранных — парных карт. Предоставляя ему — весь стол, его — своей единственности.

Еще одним видом моего интимного общения с Петером была игра «Черт-черт, поиграй да отдай!», игра — только от слова «поиграй», ему — игра, а вовсе не просителю, заветную вещь которого: папины — очки, мамино — кольцо, мой — перочинный нож, он — заиграл. «Никак не иначе, как черт занес! Привяжи, Мусенька, платочек к стуловой ножке и три раза, да так — без сердца, ласково: „Черт-черт, поиграй да отдай, черт-черт, поиграй да отдай…“»

Стянутый узлом платок концами торчал, как два рога, малолетняя же просительница сомнамбулически шлялась по огромной, явно пустой зале, ничего не ища и во всем положась и только приговаривая: «Черт-черт, поиграй да отдай… Черт-черт…» И — отдавал, как рукой подавал: с чистого подзеркальника, где только что и столько безнадежных и очевидных раз не было ничего, или просто случайно руку в карман — там! Не говоря уже о том, что папе пропажу он возвращал непосредственно на нос, а маме — на палец, непременно на тот.

Но почему же Черт не отдавал, когда потеряно было на улице? А ноги не было, чтобы привязать! Не к фонарному же столбу! Другие привязывали куда попало (и, о, ужас! Ася однажды, заторопясь, даже к козьей ножке биде!), у меня же было мое заветное место, заветное кресло… но не надо про кресло, ибо все предметы нашего трехпрудного дома — заводят далёко!

С водворением в доме парижанки Альфонсины Дижон «Черт-черт, поиграй» удлинился на целый католический вежливый отросток: «Saint-Antoine de Padoue, trouvez-moi ce que j'ai perdu», [26] что в контексте давало нечто нехорошее, ибо после третьего черта, без запятой и даже без глотательного движения, как припаянный: «Saint-Antoine de Padoue…» И мои вещи находил, конечно, Черт, а не Антоний. (Няня, с подозрением: «Ан-то-он? Свя-то-ой? На то и французинка, чтоб в такое дело святого

мешать!») И до сих пор не произношу твоего святого, Антоний Падуанский, имени, без того, чтобы сразу в глазах: торчок бесовского платка, а в ушах — собственное, такое успокоительное, такое успокоенное — точно уже все нашла, что когда-либо еще потеряю! — воркование: «Черт-черт, поиграй да отдай, черт-черт…»

Одной вещи мне Черт никогда не отдал — меня.

Но не Валериины козни. Не материнский «Карбункул». Не Машин картеж. Не остзейская игра. Все это было только — служба связей. С Чертом у меня была своя, прямая, отрожденная связь, прямой провод. Одним из первых тайных ужасов и ужасных тайн моего детства (младенчества) было: «Бог — Черт!» Бог — с безмолвным молниеносным неизменным добавлением — Черт. И здесь уже Валерия была ни при чем — да и кто при чем? И в каких это — книгах и на каких это — картах? Это была — я, во мне, чей-то дар мне — в колыбель. «Бог — Черт, Бог — Черт, Бог — Черт», и так несчетное число раз, холодея от кощунства и не можб остановиться, пока не остановится мысленный язык. «Дай, Господи, чтобы я не молилась: Бог — Черт», — и как с цепи сорвавшись, дорвавшись: «Бог — Черт! Бог — Черт! Бог — Черт!» — и, обратно, шестым номером Ганона: «Черт — Бог! Черт — Бог! Черт — Бог!» — по ледяной клавиатуре собственного спинного хребта и страха.

Между Богом и Чертом не было ни малейшей щели — чтобы ввести волю, ни малейшего отстояния, чтобы успеть ввести, как палец, сознание и этим предотвратить эту ужасную сращенность. Бог, из которого вылетал Черт, Черт, который врезался в «Бог», конечное г (х) которого уже было — ч. (О, если бы я тогда догадалась, вместо кощунственного «Бог — Черт» — «Дог — Черт», от скольких бесполезных терзаний я была бы избавлена!) О, Божие наказание и терзание, тьма Египетская!

А — может быть — проще, может быть, отрожденная поэтова, сопоставительная — противопоставительная — страсть — и склад, та же игра, в которую я в детстве так любила играть: черного и белого не покупайте, да и нет не говорите, только наоборот: только да — нет, черное — белое, я — все, Бог — Черт.

Когда я, одиннадцати лет, в Лозанне, на своей первой и единственной настоящей исповеди рассказала об этом католическому священнику — невидимому и так потом и не

увиденному — он, верней тот, за черной решеткой, те черные глаза из-за черной решетки сказали мне:

— Mais, petite Slave, c'est une des plus banales tentations du Démon![27] — забывая, что ему-то, тертому и матерому, — «banale»,[28] а мне — каково?

Но до этой первой исповеди — в чужой церкви, в чужой стране, на чужом языке — была первая православная, честь честью, семилетняя, в московской университетской церкви, у знакомого священника отца, «профессора академии».

«А этот рубль ты после исповеди отдашь батюшке…» У меня в жизни в руке не было рубля, ни своего, ни чужого, а если на бедную медную одну копейку дают у Бухтеева два ириса, то сколько же на серебряный рубль? И не только ирисов, а книжек, вроде «Аксютка-нянька» или «Маленький барабанщик» (2 коп.). И это всё, и ирисы и Аксюток, я, за свою же неприятность с грехами, с утайкой грехов — ибо не могу же я рассказывать папиному приличному знакомому и заведомо расположенному ко мне ака-де-ми-ку, что я говорю «Бог — Черт»? И что хожу к Валерии в комнату на свидание к голому догу? И что, когда-нибудь, на этом голом доге — том главном утопленнике — женюсь? — итак, за свою же смертную опасность, а может быть, даже — смерть («одна девочка на исповеди утаила грех и на другой день, когда подходила к причастию, упала мертвая…»), должна отдать — сразу все, сама положить в руку «ака-де-ми-ку»?!

Холодный новый круглый, как нуль — полный, рубль как зубами врезался отточенным своим краем в руку, сжатую для верности в кулак, и я всю исповедь как ногами простояла на одном — не дам! И дала только в последнюю секунду, совсем уже уйдя, с величайшим усилием и насилием, и вовсе не потому что — плохо, а из страха: а вдруг батюшка погонится за мной через всю церковь? Нечего говорить, что мне, занятой рублем, и в голову не пришло осведомить батюшку о моих черных, серых делах. Батюшка спрашивал — я отвечала. А откуда ему было знать, что такое нужно спросить: «Не говоришь ли ты, например, Бог — Черт?»

Этого не спросил, спросил — другое. Первым его вопросом, первым вопросом моей исповеди было: «Ты чертыхаешься?» Не поняв и сильно уязвленная в своем самолюбии признанно умной девочки, я, не без заносчивости: «Да, всегда». — «Ай-ай-ай, как

стыдно! — сказал батюшка, соболезнующе качая головой. — А еще дочь таких хороших богобоязненных родителей. Ведь это только мальчишки — на улице…»

Слегка обеспокоенная взятым на себя неизвестным грехом, а отчасти из любопытства: что это я такое всегда делаю? — я, несколько дней спустя, матери: «Мама, что такое чертыхаться?» — «Черты — что?» — спросила мать. «Чертыхаться». — «Не знаю, — задумалась мать, — может быть — поминать черта? И вообще, откуда ты это взяла?» — «Так мальчишки на улице ругаются».

Вторым же вопросом батюшки, еще более, хотя иначе меня удивившим, было: «С мальчишками целуешься?» — «Да. Не особенно». — «С которыми же?» — «С Володей Цветаевым и с андреевским Борей». — «А мама позволяет?» — «С Володей — да, а с Борей — нет, потому что он ходит в Комиссаровское училище, а там, вообще, скарлатина». — «Ну и не надо целоваться, раз мама не позволяет. А какой же это Цветаев Володя?» — «Это сын дяди Мити. Но только я с ним очень редко целуюсь. Раз. Потому что он живет в Варшаве».

(О, Володя Цветаев, в красной шелковой рубашечке! С такой же большой головой, как у меня, но ею не попрекаемый! Володя, все свое трехдневное пребывание непрерывно раскатывавшийся от передней к зеркалу — точно никогда паркета не видал! Володя, вместо «собор» говоривший «Успенский забор» — и меня поправлявший! Володя, заявивший обожавшей его матери, что я, когда приеду к нему в Варшаву, буду жить в его комнате и спать в его кроватке.

— Но при чем тут черт? Ах, все такое — черт: тайный жар.)

Своего не предав и все главное утаив, я, естественно, на другой день без радости — и не без робости — подходила к причастию, ибо слово матери и соответствующее видение: «Одна девочка на исповеди утаила грех» и т. д. — все еще стояли у меня в глазах и в ушах. До глубины я, конечно, в такую смерть не верила, ибо умирают от диабета, и от слепой кишки, и еще, раз, в Тарусе, мужик — от молнии, и если гречневая каша — хоть бы одна гречинка! — вместо этого горла попадет в то, и если наступить на гадюку… — от такого умирают, а не…

Поэтому, не упав, не удивилась, а запив теплотой, в полной

сохранности отошла к своим — и потом меня все поздравляли — и мать поздравляли «с причастницей». Если бы знали и если бы мать знала — с какой. Радости поздравлениям, как и белому платью, как и пирожкам от Бартельса — из-за полной всего этого незаслуженности — не было. Но и раскаяния не было. Было — одиночество с тайной. То же одиночество с все той же тайной. То же одиночество, как во время бесконечных обеден в холодильнике храма Христа Спасителя, когда я, запрокинув голову в купол на страшного Бога, явственно и двойственно чувствовала и видела себя — уже отделяющейся от блистательного пола, уже пролетающей — гребя, как собаки плавают — над самыми головами молящихся и даже их — ногами, руками — задевая — и дальше, выше — стойком теперь! как рыбы плавают! — и вот уже в розовой Цветочной юбочке балерины — под самым куполом — порхаю.

— Чудо! Чудо! — кричит народ. Я же улыбаясь — как те барышни в Спящей Красавице — в полном сознании своего превосходства и недосягаемости — ведь даже городовой Игнатьев не достанет! ведь даже университетский педель не заберет! — одна — из всех, одна — над всеми, совсем рядом с тем страшным Богом, в махровой розовой юбочке — порхаю.

Что, мне об этом тоже нужно было рассказывать «академику»?

Есть одно: его часто — нет, но когда оно есть, оно, якобы вторичное, сильнее всего первичного: страха, страсти и даже смерти: такт. Пугать батюшку чертом, смешить догом и огорошивать балериной было не-прилично. Неприлично же, для батюшки, все, что непривычно. На исповеди я должна быть как все.

Другая же половина такта — жалость. Не знаю почему, но, вопреки их страшности, священники мне всегда казались немножко — дети. Так же, как и дедушки. Как детям (или дедушке) рассказывать — гадости? Или страшности?

Кроме того, как мне было рассказывать о нем, говорить о нем он, когда для меня он был то и ты. Говорить о нем черт, когда для меня он был Мышатый: ты, имя настолько сокровенное, что я и одна не произносила его вслух, а только в постели или на поляне, шепотом: «Мышатый!» Звук слова «Мышатый» был сам шепот моей любви к нему. Не-шепотом это слово не существовало.

Звательный падеж любви, других падежей не имеющей.

Ведь если я о тебе сейчас пишу он, то ведь это потому что я о тебе пишу, не тебе! В этом вся ложь любовного рассказа. Любовь неизменно второе лицо, растворяющее — даже первое. Он есть объективизация любимого, то, чего нет. Ибо никакого он мы никогда не любим и не любили бы; только ты, — восклицательный вздох!

И — внезапное прозрение — по-настоящему, до дна души исповедоваться — во всем тебе во мне (для ясности: во всем «грехе» твоего присутствия во мне) — во всей мне — я бы могла — только тебе!

…Не тьма — зло, а тьма — ночь. Тьма — все. Тьма — тьма. В том-то и дело, что я ни в чем не раскаиваюсь. Что это — моя родная тьма!

———

Нет, со священниками (да и с академиками!) у меня никогда не вышло. С православными священниками, золотыми и серебряными, холодными как лед распятия — наконец подносимого к губам. Первый такой страх был к своему родному дедушке, отцову отцу, шуйскому протоиерею о. Владимиру Цветаеву (по учебнику Священной истории которого, кстати, учился Бальмонт) — очень старому уже старику, с белой бородой немножко веером и стоячей, в коробочке, куклой в руках — в которые я так и не пошла.

— Барыня! Священники пришли! Прикажете принять?

И сразу — копошение серебра в ладони, переливание серебра из руки в руку, из руки в бумажку: столько-то батюшке, столько-то дьякону, столько-то дьячку, столько-то просвирне… Не надо бы — при детях, либо, тогда уж, не надо бы нам, детям серебряного времени, про тридцать сребреников. Звон серебра сливался со звоном кадила, лед его с льдом парчи и распятия, облако ладана с облаком внутреннего недомогания, и все это тяжело ползло к потолку белой, с изморозными обоями, залы, на непонятно-жутких повелительных возгласах:

— Благослови, Владыко!

— О-о-о…

Все было — о, и зала — о, и потолок — о, и ладан — о, и кадило — о. И когда уходили священники, ничего от них не оставалось, кроме последнего, в филодендронах, о — ладана.

Эти воскресные службы для меня были — вой. «Священники пришли» звучало совершенно как «покойники».

— Барыня, покойники пришли, — прикажете принять?

Посредине черный гроб,
И гласит протяжно поп:
Буди взят моги-илой!

Вот этот-то черный гроб стоял у меня в детстве за каждым священником, тихо, из-за парчовой спины, глазел и грозил. Где священник — там гроб. Раз священник — так гроб.

Да и теперь, тридцать с лишним лет спустя, за каждым служащим священником я неизменно вижу покойника: за стоящим — лежащего. И — только за православным. Каждая православная служба, кроме единственной — пасхальной, вопящей о воскресении и с высоты разверстых небес отрясающей всякий прах, каждая православная служба для меня — отпевание.

Что бы ни делал священник, мне все кажется, что священник над ним наклоняется, ему кадит, изо всех сил уговаривает и даже — заговаривает: «Лежи, лежи, а я тебе попою…» Или: «Ну, лежи, лежи, чего уж тут…» Заклинает.

Священники мне в детстве всегда казались колдунами. Ходят и поют. Ходят и машут. Ходят и колдуют. Окаживают. Окуривают. Они, так пышно и много одетые, казались мне не-нашими,[29] а не тот, скромно- и серо-голый, даже бедный бы, если бы не осанка, на краю Валериной кровати.

От священников — серебряной горы спины священника — только затем горы, чтобы скрыть, мне и Бог казался страшным: священником, только еще страшней, серебряной горой: Араратом. И три барана детской скороговорки — «На горе Арарат три барана орали» — конечно, орали от страха, оттого, что остались одни с Богом.

Бог для меня был — страх.

Ничего, ничего, кроме самой мертвой, холодной как лед и белой как снег скуки, я за все мое младенчество в церкви не ощутила. Ничего, кроме тоскливого желания: когда же кончится? и безнадежного сознания: никогда. Это было еще хуже симфонических концертов в Большом зале Консерватории.

———

Бог был — чужой, Черт — родной. Бог был — холод. Черт — жар. И никто из них не был добр. И никто — зол. Только одного я любила, другого — нет: одного знала, а другого — нет. Один меня любил и знал, а другой — нет. Одного мне — тасканьями в церковь, стояньями в церкви, паникадилом, от сна в глазах двоящимся: расходящимся и вновь сходящимся — Ааронами и фараонами — и всей славянской невнятицей, — навязывали, одного меня — заставляли, а другой — сам, и никто не знал.

———

Но ангелов я — любила: одного, голубого, на жарко-золотой, прямо — горящей бумаге, прямо — трещавшей от сдерживаемого огня. Жаркой еще и от моих постоянных, всегда вскипавших и так редко перекипавших, обратно — вкипавших, одиноко выкипавших слез на печном румянце щек. И еще одного, земляничного, тоже немецкого, с раскрашенной картинки к немецкому стихотворению «Der Engel und der Grobian».[30] (Помню слово: «im rothen Erdbeerguss» — в красном земляничном потоке…)

Один мальчик собирал на полянке землянику. Вдруг видит — перед ним стоит другой мальчик, только большой и весь в белом и с длинными кудрями, как у девочки, а на кудрях — золотой круг. «Здравствуй, мальчик, дай и мне земляники!» — «Вот еще выдумал! — первый, с четверенек и даже не сняв шапки („гьскt auch sein Кдppiein nicht“[31]), — сам собирай, и вообще убирайся — это моя полянка!» И опять — носом в корм. И вдруг — шум. Так лес не шумит. Подымает глаза: а мальчик уже над полянкой… «Милый ангел! — кричит невежа, срывая с себя колпачок, — вернись! Вернись! Возьми все мои ягоды!» Но — поздно. Вот край его белой одежды уже над березами, вот уже выше — уж и самой высокой березе рукой не достать, самой длинной из своих рук… Обжора, упав лицом в злосчастную землянику — плачет, и плачу с ним — сама земляничная обжора

и невежа — я.

Много я с тех пор видала земляничных полянок и ни одной, чтобы за краем непременной березы не увидеть того безвозвратного края одежды, и немало раз, с тех пор, землянику — ела, и ни одной ягоды в рот не клала без сжатия сердца. Даже слово Grobian для меня навсегда осталось ангельским. И никакие Адам и Ева с яблоком и даже со змеем так во мне добра не предрешили, как мальчик — с другим мальчиком, поменьший с побольшим, гадкий — с хорошим, земляничный — с заоблачным. И если я потом, всю жизнь, стольких «Grobian'ов» — на полянках и в комнатах — видела ангелами, демонами, небожителями, то, может быть, от раз навсегда меня тогда ожегшего страха: небесного не принять за земного.

Вечерами, сначала нескончаемо-красными, потом нескончаемо-черными, — так поздно — красными! так рано — черными! — мать и Валерия, летом — Окою, осенью большой дорогой, сначала березовой, потом большою, в два голоса — пели. Эти две враждующих природы сходились только в пении, не они сходились — их голоса: негромкое, смущающееся быть большим контральто матери с превышающим собственные возможности Валериным сопрано.

Kein Feuer, keine Kohle
Kann brennen so heiss,
Als wie heimliche Liebe
Von der niemand was weiss…[32]

От этих слов: Feuer — Kohle — heiss — heimlich — (огонь — уголь — жарко — тайно) — у меня по-настоящему начинался пожар в груди, точно я эти слова не слушаю, а глотаю, горящие угли — горлом глотаю.

Keine Rose, keine Nelke
Kann blühen so schön,
Als wenn zwei verliebte Seelen
Zu einander thun stehn.[33]

Тут-то меня и сглазили: verliebte Seelen! Ну, что бы — Herzen! И было бы все, как у всех. Но нет, что в младенчестве усвоено — усвоено раз навсегда: verliebte — значит Seelen. А Seelen это ведь See (остзейская «die See» — море!) и еще — sehen (видеть), и еще

— sich sehnen (томиться, тосковать), и еще — Sehnen (жилы). Из жил томиться по какому-то морю, которого не видал, — вот душа и вот любовь. И никакие Rosen и Nelken не помогут!

Когда же песня доходила до:

Setze Du mir einen Spiegel
Ins Herze hinein… — [34]

я физически чувствовала входящее мне в грудь Валериино зеленое венецианское зеркало в венце зубчатого хрусталя — с постепенностью зубцов: setze Herze — и бездонным серединным, от плеча до плеча заливающим и занимающим меня зеркальным овалом: Spiegel.

Кого держала мать в своем зеркале? Кого — Валерия? (Одно лето, моих четырех лет, — одного: того, кому в четыре руки — играли и в четыре же руки — вышивали, кому и о ком в два голоса — пели…) Я? — знаю кого.

…Damit Du könnest sehen.
Wie so treu ich es mein, — [35]

пояснительно тянули и дважды повторяли певицы. Пяти лет я не знала meinen (мнить, глагол), но mein — мой — знала, и кто мой — тоже знала, и еще Meyn (Мейн) знала — дедушку Александра Данилыча. От этой включенности в песню дедушка невольно включался в тайну: мне вдруг начинало казаться, что дедушка — тоже.

С уходом Августы Ивановны (это она занесла в дом песню) — то есть с концом младенчества, семилетием, кончился и Черт. Зрительно кончился, на Валериной постели — кончился. Но никогда я, до самого моего отъезда из Трехпрудного — замуж, не входила в Валериину комнату без быстрого и косвенного, как тот луч, взгляда на кровать: там?

(Дом давно-о снесен, от кровати и ножек нет, а тот все-е сидит!)

А вот еще одна встреча, так сказать, заскочившая за младенчество: жалко ему было с такой девочкой расставаться!

Мне было девять лет, у меня было воспаление легких, и была Верба.

«Что тебе принести, Муся, с Вербы?» — мать, уже одетая к выходу, в неровном обрамлении — новой гимназической шинелью еще удлиненного Андрюши и — моей прошлогодней, ей — до полу, шубой — еще умаленной Аси. «Черта в бутылке!» — вдруг, со стремительностью черта из бутылки вылетело из меня. «Черта? — удивилась мать, — а не книжку? Там ведь тоже продаются, целые лотки. За десять копеек можно целых пять книжек, про Севастопольскую оборону, например, или Петра Великого. Ты — подумай». — «Нет, все-таки… черта…» — совсем тихо, с трудом и стыдом прохрипела я. — «Ну, черта — так черта». — «И мне черта!» — ухватилась моя вечная подражательница Ася. — «Нет, тебе не черта!» — тихо и грозно возразила я. «Ма-ама! Она говорит, что мне не черта!» — «Ну, конечно — не… — сказала мать. — Во-первых, Муся — раньше сказала, во-вторых, зачем дважды одну и ту же вещь, да еще такую глупость? И он все равно лопнет». — «Но я не хочу книжку про Петра Великого — уже визжала Ася. — Он тоже разорвется!» — «И мне, мама, пожалуйста, не книжку! — заволновался Андрюша, — у меня уже есть про Петра Великого, и про все…» — «Не книжку, мама, да? Мама, а?» — клещом въедалась Ася. — «Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо: не книжку. Мусе — не-книжку, Асе — не-книжку, Андрюше — не-книжку. Все хороши!» — «А тогда мне, мама, что? А мне тогда, мама, что?» — уже дятлом надалбливала Ася, не давая мне услышать ответа. Но мне было все равно — ей что, мне было — то.

— Ну вот тебе, Муся, и твой чертик. Только сначала сменим компресс.

Укомпрессованная до бездыханности — но дыхания всегда хватит на любовь — лежу с ним на груди. Он, конечно, крохотный, и скорей смешной, и не серый, а черный, и совсем не похож на того, но все-таки — имя — одно? (в делах любви, я это потом проверила, важно сознание и название.)

Сжимаю тридцатидевятиградусной рукой круглый низ бутылки, и скачет! скачет!

— Только не клади его с собой спать. Заснешь и раздавишь. Как только почувствуешь, что засыпаешь — положи возле, на стул.

«Как только почувствуешь, что засыпаешь!» — легко сказать, когда я весь день только и чувствую, что — засыпаю, просто — весь день сплю, сплю, с многими и буйными видениями и громкими радостными воплями: «Мама! Король напился!» — тот самый король над моей кроватью — «Он в темной короне, с густой бородой» — а у меня еще и с кубком в руке — которого я звала Лесной Царь, а который по-настоящему, я потом догадалась, был der Kцnig im Thule — gar treu bis an sein Grab — dem sterbend seine Buhle einen goldnen Becher gab. И этот король с кубком — всегда в руке, никогда у рта, этот король, который никогда не пьет — вдруг — напился!

— Какой у тебя даже бред странный! — говорила мать. — Король — напился! Разве это бред девятилетней девочки? Разве короли — напиваются? И кто, вообще, когда при тебе напивался? И что значит — напился? Вот что значит потихоньку читать фельетоны в «Курьере» про всякие пиры и вечеринки! — забывая, что она сама же живописала этого августейшего бражника на полотне и поместила его в первом поле моего утреннего зрения и сознания.

Однажды, застав меня все с тем же чертом в уже остывающем кулаке, мать сказала: «Почему ты меня никогда не спросишь, почему черт — скачет? Ведь это интересно?» — «Да-да-а», — неубежденно протянула я. «Ведь это очень интересно, — внушала мать, — нажимаешь низ трубки и, вдруг — скачет. Почему он скачет»? — «Я не знаю». — «Ну, вот видишь, в тебе — я уже давно вижу — нет ни искры любознательности, тебе совершенно все равно, почему: солнце — всходит, месяц — убывает, черт, например — скачет… А?» — «Да», — тихо ответила я. «Значит, ты сама признаешь, что тебе все равно? А все равно — быть не должно. Солнце всходит, потому что земля перевернулась, месяц убавляется, потому что — и так далее, а черт в склянке скачет, потому что в склянке — спирт». — «О, мама! — вдруг громко и радостно завыла я. — Черт — спирт. Это ведь, мама, рифма?» — «Нет, — совсем уже огорченно сказала мать, — рифма, это черт — торт, а спирт… погоди-ка, погоди, на спирт, кажется, нет…» — «А на бутылку? — спросила я с живейшей любознательностью. — Копилка — да? А еще — можно? Потому что у меня еще есть: по затылку, Мурзилка…» — «Мурзилка — нельзя, — сказала мать, — Мурзилка — собственное имя, да еще комическое… Так ты понимаешь, почему черт скачет? В бутылке — спирт, когда он в руке нагревается — он расширяется». — «Да, — быстро

согласилась я, — а нагревается — расширяется — тоже рифма?» — «Тоже, — ответила мать. — Так скажи мне теперь, почему черт скачет?» — «Потому что он расширяется». — «Что?» — «То есть наоборот — нагревается». — «Кто, кто нагревается?» — «Черт. — И, видя темнеющее лицо матери: — То есть наоборот — спирт».

Вечером, когда мать пришла прощаться, я, со сдержанным торжеством:

— Мама! А на спирт все-таки есть рифма, только ничего, что по-немецки?

Droben bringt man sie zum Grabe,
Die sich freuten in dem Thal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe,
Dir auch singt man dort einmal.[36]

«Христос — воскрес, а черт взял да и лопнул! — торжествующе сказала Асина няня, Александра Мухина, стоя пасхальным утром над моей кроватью. — Давай, давай осколки!» — «Неправда! — орала я, сжимая в кулаке драгоценные останки и бия ногами в туго натянутый свод одеяла. — Он лопнул совсем не потому, что Христос воскрес, а потому, что я на него легла… Я его просто заспала, как на суде Соломона». — «Вот Бог, значит, и наказал, что с такой нечистью спишь». — «Ты сама нечисть! — орала я, пробившись наконец ногами сквозь одеяло и — ими помогая. — Тебя самое Бог накажет за то, что ты радуешься несчастью ближнего!» — «Уж и несчастье — презрительно фыркнула нянька. — Черт лопнул! Когда дядя родной, Федя, помер, небось не плакала, а тут из-за черта паршивого, прости Господи!» — «Врешь! врешь! врешь! — орала я, уже встав и, как он, скача. — Да разве ты не видишь, что я не плачу! Это ты сейчас будешь плакать, когда я в тебя… (и, ничего не найдя вокруг, кроме градусника)… когда я тебя своими руками разорву, чертовка окаянная!»

«Что-о? — спросила входящая мать. — Это что такое? Что тут за представление?» — «Да ничего, барыня, — с лицемерным смирением сказала няня, — это Мусенька в Светлое Христово Воскресение чертом ругается, да-а-а…» — «Мама! У меня лопнул черт, а она говорит, что это Бог!» — «Что?» — «Что это Бог меня наказал за то, что я его больше любила, чем дядю Федю». — «Какие глупости! — неожиданно повернула мать. — Разве можно сравнивать? Няня, ступай на кухню. Но чертом ругаться в первый

день Пасхи, да и вообще… Ведь сегодня же — Христос воскрес!» — «Да, а она сказала, что он потому и лопнул». — «Глупости! — отрезала мать. — Простое совпадение. Он лопнул потому, что нужно же когда-нибудь лопнуть. Но и ты хороша — связываться с неграмотной женщиной. А еще в приготовительном классе казенной гимназии… Но главное — что ты могла себя поранить. Где он?» Молча, чтобы не заплакать, разжимаю руку. «Но ведь тут ничего нет? — мать, внимательно всматриваясь. — Где же он сам?» Я, давясь от слез: «Не знаю. Я его так и не нашла. Он куда-то совсем выскочил!»

Да, черт мой лопнул, не оставив от себя ни стекла, ни спирту.

———

— Вот видишь, — говорила мать, сидя над моими тихими слезами, — никогда не нужно привязываться к такой вещи, которая может лопнуть. А они — все лопаются! Помнишь заповедь: «Не сотвори себе кумира»?

— Мама, — сказала я, отряхаясь от слез, как собака от воды. — А какая рифма на «кумира»? Тамара?

———

Милый серый дог моего детства — Мышатый! Ты не сделал мне зла. Если ты, по Писанию, и «отец лжи», то меня ты научил — правде сущности и прямоте спины. Та прямая линия непреклонности, живущая у меня в хребте, — живая линия твоей дого-бабье-фараоновой посадки.

Ты обогатил мое детство на всю тайну, на все испытание верности, и, больше, на весь тот мир, ибо без тебя бы я не знала, что он — есть.

Тебе я обязана своей несосвятимой гордыней, несшей меня над жизнью выше, чем ты над рекою: le divin orgueil[37] — словом и делом его.

Тебе, кроме столького, я еще обязана бесстрашием своего подхода к собакам (да, да, и к самым кровокипящим догам!) и к людям, ибо после тебя — каких еще собак и людей бояться?

Тебе я обязана (так Марк Аврелий начинает свою книгу)

своим первым сознанием возвеличенности и избранности, ибо к девочкам из нашего флигеля ты не ходил.

Тебе я обязана своим первым преступлением: тайной на первой исповеди, после которого — все уже было преступлено.

Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь, разъедая ее оценкой и добивая гордыней, ибо ты решил меня поэтом, а не любимой женщиной.

Это ты, когда я со взрослыми играла в карты и кто-то, нечаянно и неизменно, загребал мой выигрыш, вгонял мне обратно в глаза — слезы, в глотку — слово: «А ставка была — моя».

Это ты оберег меня от всякой общности — вплоть до газетного сотрудничества, — нацепив мне, как злой сторож Давиду Копперфильду, на спину ярлык: «Берегитесь! Кусается!»

И не ты ли, моей ранней любовью к тебе, внушил мне любовь ко всем побежденным, ко всем causes perdues[38] — последних монархий, последних конских извозчиков, последних лирических поэтов.

Это ты — на всю свою непреклонность превышая распластанный в сдаче город — последним всходишь на сходни последнего корабля.

Бог не может о тебе низко думать — ты же когда-то был его любимым ангелом! И те, видящие тебя в виде мухи. Мушиным князем, мириадом мух — сами мухи, дальше носу не видящие.

И мух вижу, и нос вижу: твой длинный серый баронский замшевый догов нос, брезгливо и огрызливо наморщенный на мух — мириады мух.

Догом тебя вижу, голубчик, то есть собачьим богом.

———

Когда я одиннадцати лет в католическом пансионе старалась полюбить Бога:

> Jusqu’a la mort nous Te serons fidîles,

Jusqu'a la mort Tu seras notre Roi,
Sous Ton drapeau, Jésus, Tu nous appelles,
Nous y mourrons en combattant Pour Toi… — [39]

ты мне не помешал. Ты только ушел на самое мое дно, вежливо уступая место — другому. «Ну, попробуй — кротостью…» Ты никогда не снизошел до борьбы за меня (и за что бы ни было!), ибо все твое богоборчество — бой за одиночество, которое одно и есть власть.

Ты — автор моего жизненного девиза и могильной надписи:

Ne daigne! — [40]

чего? Всего: ничего не daigne — да хотя бы — снизойти до зде-лежащего праха.

И когда мне, на всей моей одиннадцатилетней жизни грехи, из черной дыры чужих глаз и чужой исповедальни было сказано:

Un beau bloc de marbre se trouve enfoncé dans la boue du grand chemin. Un homme vulgaire marche dessus et l'enfonce encore plus profondément. Un noble coeur le dégage, le lave et en fait une statue qui dure éternellement. Soyez le sculpteur de Votre вme, petite Slave…[41]

Чьи это слова?

———

Тебе я обязана зачарованным, всюду со мной передвигающимся, из-под ног рождающимся, обнимающим меня как руками, но как дыханием растяжимым, всё вмещающим и всех исключающим кругом своего одиночества.

И если ты когда-то в виде серой собачьей няни снизошел до меня, маленькой девочки, то только затем, чтобы она потом всю жизнь сумела одна: без нянь и без Вань.

———

Грозный дог моего детства — Мышатый! Ты один, у тебя нет церквей, тебе не служат вкупе. Твоим именем не освящают ни плотского, ни корыстного союза. Твое изображение не висит в

залах суда, где равнодушие судит страсть, сытость — голод, здоровье — болезнь: все то же равнодушие — все виды страсти, все та же сытость — все виды голода, все то же здоровье — все виды болезни, все то же благополучие — все виды беды.

Тебя не целуют на кресте насильственной присяги и лжесвидетельства. Тобой, во образе распятого, не зажимает рта убиваемому государством его слуга и соубийца — священник. Тобой не благословляются бои и бойни. Ты в присутственных местах — не присутствуешь.

Ни в церквах, ни в судах, ни в школах, ни в казармах, ни в тюрьмах, — там, где право — тебя нет, там, где много — тебя нет.

Нет тебя и на пресловутых «черных мессах», этих привилегированных массовках, где люди совершают глупости — любить тебя вкупе, тебя, которого первая и последняя честь — одиночество.

Если искать тебя, то только по одиночным камерам Бунта и чердакам Лирической Поэзии.

Тобой, который есть — зло, общество не злоупотребило.

Ване, 19 июня 1935

МОЙ ПУШКИН

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей — «Jane Eyre» — Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери — «Дуэль».

Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням — а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый — Пушкин, отходящий — Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, — вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, — об этом животе поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу — в слове живот для меня что-то священное, — даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила — поэта. А Гончарова, как и Николай I, — всегда найдется.

— Нет, нет, нет, ты только представь себе! — говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты. — Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! — тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в

крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, — этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок — если не мести, так страсти — на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревец, черная и белая картина «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта — чернью.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, детство, юность, — я поделила мир на поэта — и всех и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать — поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой — «Явление Христа народу», с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале — «Татары» — татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и — в спальне матери — «Дуэль». Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными черными кудрявыми орлоносыми голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух, — и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.

———

Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, — черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. (Раз негр — черные[42]).

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском

пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт — негр, поэт — негр, и поэта — убили.

(Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и сущих не негр, и какого поэта — не убили?)

Но и до «Дуэли» Наумова — ибо у каждого воспоминания есть свое до-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень — которая всегда оказывается — или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды, — но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин, — когда я еще не знала, что Пушкин — Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин — всегда и отвсегда, — до «Дуэли» Наумова была заря, и, из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец — реку, — черный человек выше всех и чернее всех — с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, — о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи! — плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина — до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина — посидим», — чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина — верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая.

Там верстою небывалой
Он торчал передо мною…
(«Бесы»)

Пушкин здесь говорит о верстовом столбе.

Ни огня, ни черной хаты…
Глушь и снег…
Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…
(«Зимняя дорога»).[43]

Памятник Пушкина был — обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, — кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, — памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было) ежедневных неизбежных прогулок — на Патриаршие Пруды — или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала — к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость — лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножию мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку — они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос — знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, — приставлять к гигантову подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост — сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! — и так как черный был явлен гигантом, а белый — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не

белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь…» — с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто меня, тогда — может, потому что я ведь еще вырасту…» И, одновременно: «А если одна на другую сто фигурок, выйду — я?» И ответ: «Нет, не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые».

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом — и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным — я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки — то, что Памятник-Пушкина — для меня. Но что же тогда для фигурки — Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья — внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает — дом. Или — гром. А она для него — такая уж маленькая, что он ее тоже — просто не видит. Он думает — просто блоха. А меня — видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

…Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной или снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, — к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, от него — спиной и к нему — спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо.)

Памятник Пушкина я любила за черноту — обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина — совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин — негр, я бы знала, что Пушкин — негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщенность всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным — рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, — черный памятник Пушкина моего до-грамотного младенчества и всея России.

…Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество или под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветры. Этот — всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

— На Патриаршие Пруды или..?

— К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах — патриархов не было.

———

Чэдная мысль — гиганта поставить среди детей. Черного гиганта — среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство — обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я — так явно предпочитаю — черную. Памятник Пушкина, опережая события, — памятник против расизма, за равенство для всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала

гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает — слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ — самых далеких и как будто бы — самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство — ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет — раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским Фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма — за гения.

Чэдная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин — символ. Чэдная мысль — чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чэдная мысль — наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклона — дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии — Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль — гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень — цепь, камень — цепь, камень — цепь, все вместе — круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний Пушкин, ты — мой Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой прошлой, сущей, будущей, качалась — не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. — «Ампир»? — Ампир. — Empire — Николая I Империя.

Но с цепями и с камнями — чудный памятник. Памятник свободе — неволе — стихии — судьбе — и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески-постыдная и поэтически-бездарная

подмена Жуковского:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен… —

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением пользы в поэзию — подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1884 года — установки памятника, — наконец заменена словами пушкинского «Памятника»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава бульшая — безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин — Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша — ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище — в слове:

А там, в полях необозримых
Служа небесному царю —
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

———

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит — либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо: «Муся! Ты видела этого господина?» — «Да». — «Так это — сын Пушкина. Ты ведь знаешь

памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно — гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?»

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг — пройдет.

Прошел он — и именно вдруг — но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди — звезда.

— Ну, Муся, видела сына Пушкина?

— Видела.

— Ну, какой же он?

— У него на груди — звезда.

— Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то…

— Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, — няниному: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

«Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина». — «Что, барышня?» — «У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». — «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли…» — неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину, — вмешалась няня. — Небось сами — полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» — «Знаю». — «Ну, сынок их, значит. Уже

в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство».

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить — связанного у меня только с предметами — белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский и т. д. — а никак не с человеками, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам — так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина — тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор. Так и у меня был свой Командор.

———

А шел, верней, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него — не зная, не узнавая, не подозревая, — в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой — узнала это только в Париже, в 1928 году — оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.

———

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был — тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод — том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось — Собрание сочинений А. С. Пушкина.

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков — другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф — обманный, зеркальный, в две створки, в каждой — я, а если удачно поместиться — носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один — неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.

Мой первый Пушкин — «Цыганы». Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще — Старик. Я стариков знала только одного — сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у которого рука отсохла — потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А. Д. Мейн — не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что, когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово — любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь. Я думала — у всех так, всегда — так. Оказывается — только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена — в «Цыган»: в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом: взрослым — потому что краденое, детям — потому что я их презираю, а главное — потому что тайна: моя — с красной комнатой, моя — с синим томом, моя — с грудной ямкой.

Но в конце концов любить и не говорить — разорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух — в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы — швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася — спала.

— А у нас Мусенька — умница, грамотная, — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. — А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того (барабанщика).

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пяти лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

— Я могу рассказать про «Цыган».

— Цы-ган? — нянька, недоверчиво. — Про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребущие?

— Это не такие. Это — другие. Это — табор.

— Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит — молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоем талане…», — а старая чертовка — белье с веревки али уж прямо — бриллиантовую брошь с барынина туалета…

— Не такие цыгане. Это — другие цыгане.

— Ну, пущай, пущай расскажет! — приятельница, чуя в моем голосе слезы. — Может, и вправду другие какие… Пущай расскажет, а мы — послушаем.

— Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыгане шумною толпой — По Бессарабии кочуют — Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют — Как вольность весел их ночлег — и так далее — без передышки и без серединных запятых — до: звон

походной наковальни, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто — принимаю.

— А складно говорит! как по-писаному! — восклицает швея, тайно меня любившая, но не смеющая, потому что нянька — Асина.

— Мед-ве-едь… — осуждающе произносит нянька, повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово. — А вправду — медведь. Маленькая была, старики рассказывали — завсегда цыгане медведя водили. «А ты, Миша, попляши!» И пляса-ал.

— Ну, а дальше-то, дальше-то что было? (Швея.)

— И вот, к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алэко. Нянька:

— Ка-ак?

— Алэко!

— Ну уж и зовут! И имени такого нет. Как, говоришь, зовут?

— Алэко.

— Ну и Алека — калека!

— А ты — дура. Не Алека, а Алэко!

— Я и говорю: Алека.

— Это ты говоришь: Алека, я говорю: Алэко: э-э-э! о-о-о!!

— Ну, ладно: Алека — так Алека.

— Алеша, — значит, по-нашему (приятельница, примиряюще). — Да дай ей, дура, сказать, — она ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку, она дура, неученая, а ты грамотная, тебе и знать.

— Ну, эту дочь звали Земфира. (Грозно и громко:) Земфи-ра — эта дочь говорит старику, что Алеко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне:

«Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала».

А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге: «В одной телеге мы поедем — та-та-та-та, та-та-та-та — И села обходить с медведем…»

— С медве-едем, — нянька, эхом.

— И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах…

— Кто это — в корзинах?..

— Так: «Ослы в перекидных корзинах — Детей играющих несут — Мужья и братья, жены, девы — И стар и млад вослед идут — Крик, шум, цыганские припевы — Медведя рев, его цепей».

Нянька:

— Да уж будет про медведя! Со стариком-то — что?

— Со стариком — ничего, у него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и эта, тоже, Земфира — ушла.

Сначала все пела: «Старый муж, грозный муж! Не боюсь я тебя!» — это она про него, про отца своего, пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла. Обе в голос:

— Ай-а-ай! Ну и душегуб! Так и зарезал ножом? А старик-то — что?

— Старик — ничего, старик сказал: «Оставь нас, гордый человек!» — и уехал, и все уехали, и весь табор уехал, а Алеко один остался.

Обе в голос:

— Так ему и надо. Не побивши — убивать! А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал, — да ты, Мусенька, не слушай (громким шепотом) — застал с полюбовником. И его враз, и ее.

Потом на каторгу пошел. Васильем звали… Да-а-а… Какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.

———

Пушкин меня заразил любовью. Словом — любовь. Ведь разное: вещь, которую никак не зовут, — и вещь, которую так зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся — это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется — это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся — это любовь. Когда розово-газовых нафталинных парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу — это любовь. То есть это — оç лыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Алеко и Мариулы и могилы.

А вот волк и ягненок — не любовь, хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно.

— Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутил…

— Но волк — тоже хороший!

Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он съел ягненка, а ягненка я любить — хоть и съеденного и белого — не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».

———

Сказав волк, я назвала Вожатого. Назвав Вожатого — я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего — любить.

Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что Вожатый заведет нас далёко, может быть, еще дальше,

чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех любимых собак, больше всех закаченных в подвал мячей и потерянных перочинных ножиков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был — главная тайна. Больше «Цыган», потому что он был — черней цыган, темней цыган.

И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил — Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил… Вожатый.

———

Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь.

— Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренбергская или крестнина парижская?

— Парижская.

— Почему?

— Потому что у нее глаза страстные.

Мать угрожающе;

— Что-о-о?

— Я, — спохватываясь: — Я хотела сказать: страшные.

Мать еще более угрожающе:

— То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно. Но поняла — неправильно. Не глаза — страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами (и розовым газом, и нафталином, и словом Париж, и делом сундук, и недоступностью для меня куклы), приписала — глазам.

Не я одна. Все поэты. (А потом стреляются — что кукла не страстная!) Все поэты, и Пушкин первый.

———

Немножко позже — мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год — в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер — рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» — и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке — Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы не любовь, что это — любовь: когда скамейка, на скамейке — она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова.

— Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? — мать, по окончании.

— Татьяна и Онегин.

— Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

— Татьяна и Онегин.

— Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу. Мать, торжествующе:

— Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

— Татьяна и Онегин.

— Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на

извозчике на все мои вопросы повторять: «Татьяна и Онегин!» Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что — сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

— Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? — с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами:) «Потому что — любовь».

— Она наверное уже седьмой сон видит! — подходящая Надежда Яковлевна Брюсова,[44] наша лучшая и старшая ученица, Н тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

— А это, Муся, что? — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь…

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ — улыбки благодарности. На обратном пути — тихом, позднем, санном, — мать ругается:

— Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура — шести лет — влюбилась в Онегина!

Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и, может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее — немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда — когда расставались. Никогда — когда садились, всегда — расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, любила она, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес — она одна стоит, а может

быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на нелюбовь — обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его — так, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной — единоличной — всей на себя взятой — любви — прямо гений на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Евгений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не страшась суда — то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах — сделала. И если я потом, когда уходили (всегда — уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

———

У кого из народов — такая любовная героиня: смелая — и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая — и любящая.

Ведь в отповеди Татьяны — ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее в руках, чтобы отметить и свести его с ума, все козыри — чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сровнять с паркетом той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: «Я вас люблю, — к чему лукавить?».

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать — к чему? А вот на это, действительно, нет ответа для Татьяны — внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда — в зачарованном кругу сада, — в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда — непонадобившаяся, сейчас — вожделенная, и тогда и ныне — любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она — не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь — первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них — и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь — и дородясь.

Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А. Д. Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо «для бедной все были жребии равны» В моя мать выбрала самый тяжелый жребий — вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, — на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить того, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т. д., ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива…» (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я — не его дочь!)

Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны — не было бы меня.

Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала — должно быть, все-таки — пожалела девочку…

———

С младенчества посейчас, весь «Евгений Онегин» для меня сводится к трем сценам: той свечи — той скамьи — того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и может быть, не прочти я его до семи лет… но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть развороченная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркеты (как у нас в зале) и есть любовь (как у меня в грудной ямке).

Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века».) Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

———

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин — уже не краденый, а дарёный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, — обезвреженный, приручённый Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.

В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей — поэтической. Портрет в две дали — назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал.

Книжку я не любила, это был другой Пушкин, в нем и «Цыганы» были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной. Но, помимо содержания, отвращало уже само название: для городских училищ, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно — лица учеников городских училищ, — бедные лица: некормленые, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица — внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Тощие, синие и злобные. Два кулака. Поперек запавшего живота — с огромной желтой бляхой, городских училищ, ремень.

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая птичища? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напева, что никому, кажется, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту птичку проверить — и меньше всего — шестилетней тогдашней — мне. Раз сказано, так — тбк. В стихах — так. Эта птичка — поэтическая вольность.

Интересно, чту думают об этой птичке трезвые школьники Советской России?

«Зима, крестьянин торжествуя» на второй странице городских училищ Пушкина я средне-любила, любила (раз стихи!), но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда не грозится уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. «В тулупе, в красном кушачке» — это Андрюша, а «крестьянин торжествуя» — это дворник, а дровни — это дрова, а мать — наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку к Памятник-Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, потому что мы во дворе никогда не играли — только им проходили — потому что вдруг у андреевских детей (семьи, снимавшей флигель) окажется скарлатина? И жучку в салазки не садили, а салазки — были, синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказанного, «Зима, крестьянин торжествуя», под видом стихов были басня, которые, под видом стихов — проза и которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала — последними. Сейчас же скажу: «Зима, крестьянин торжествуя» были — идиллия, то есть та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения которой я так никогда и не поняла.

Чтобы кончить о синем, городских училищ, Пушкине: он для любви был слишком худ, — ни с трудом поднять, ни тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно-швейцарскому и неизменно-темному фартуку, — ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел.

Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей,

неизменно любила и люблю — еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь: «А длинная?» — «Нет, маленькая повесть». — «Ну, тогда читать не буду».

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распирало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и «Ты опять не спишь?» — Николенькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России.

Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу: он читать не любил, и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, я же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматия была — только любовь. Мать не отнимала: раз хрестоматия — ничего преждевременного. Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать.

Например:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

(Андрюша, на вопрос матери: «А я почём знаю?»)

…Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Не знаю, как другие дети: так как я из всего четверостишия понимала только злодея и так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось — три: Гетман, Царь-Петр и Кочубей, и я долго потом не могла понять (и сейчас не совсем еще понимаю), что злодей — один и кто именно. Гетман для меня по сей день — Кочубей и Царь-Петр, а Кочубей — по сей день Гетман, и т. д., и три стало одно, и это одно — злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы — не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю — возможности написать донос. Так и осталось: летит казак под несуществующе-ярким (сновиденным!) небом, где одновременно (никогда не бывает!) и звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и

облитый луною — точно чтобы его лучше видели! — а на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь, донос, — донос на Гетмана-злодея Царю-Петру от Кочубея.

Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была — злодейство. Больше скажу: когда я во время Гражданской войны слышала Гетман (с добавлением: Скоропадский), я сразу видела того казака, который — падает.

Но с Царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча: «Кто он?» И опять мать Андрюше: «Ну, Андрюша, кто же был — он?» И опять Андрюша, честно, тоскливо и даже возмущенно: «А я почём знаю?» (Что за странный мир — стихи, где взрослые спрашивают, а дети отвечают!) «Ну, а ты, Муся? Кто же был — он?» — «Великан». — «Почему великан?» — «Потому что он сразу все починил». — «А что значит „И на счастие Петрово“»? — «Не знаю». — «Ну, что значит Петрово?» (В голове ничего, кроме начертания слова: Петрово.) «Ты не знаешь, что такое Петрово?» — «Нет». — «А Андрюшино — знаешь?» — «Да. Андрюшин штекенпферд, Андрюшин велосипед, Андрюшины салазки…» — «Довольно, довольно. Ну и Петрово то же самое. Петрово — понимаешь? Счастье — понимаешь? (Молчу.) Счастья не понимаешь?» — «Понимаю. Счастье, это когда мы пришли с прогулки и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати…» — «Достаточно. На счастие Петрово значит на Петрово счастье. А кто этот Петр?» — «Это…» — «Кто он? Что?» — «То есть чудесный гость. Смотрит долго в ту сторонку — Где чудесный гость исчез…» — «А как этого чудесного гостя зовут?» Я, робко: «Может быть — Петр?» — «Ну, слава богу!.. (С внезапной подозрительностью.) Но Петров много. Какой же это был Петр? (И отчаявшись в ответе:) Это был тот самый Петр, который…

Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Поняла?»

Еще бы! Но и увы! Только было начавший проясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-лунную казачье-скачущую шапочно-доносную нощь и, чту еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем Кочубеем и Гетманом. И опять встал под гигантский — в новый месяц! — вопросительный знак: «Кто?» Когда Петр — то всегда: кто? Петр,

это когда никак нельзя догадаться.

Но и обратное: как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра.

Отчего пальба и клики
В Петербурге-городке?

Ответ: «Понятно, Петр!» Но что же он именно сделал, ибо раз подсказывают — не то, всё, что подсказывают — не то. Особенно же и до смешного не то:

Родила ль Екатерина,
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

Родила я не понимала, понимала только родилась, ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах — есть. Ну, женатый чудотворец.

Но, боже, какое облегчение, когда после стольких отчего и стольких явно ложных подсказок, — наконец, блаженное оттого! «Оттого-то шум и клики — в Петербурге-городке».

Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: «Отчего пальба и клики? — Кто он? — Кто при звездах и при луне? — Черногорцы, что такое?» — и т. д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это — нарочно, что он не спрашивает, а знает, и чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказке не веря, я каждую, невольно, видела, — строка за строкой, как умела, по-своему, стихи — видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями.

Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос, в стихах, — прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое отчего требует и сулит оттого и этим ослабляет самоценность всего процесса, все стихотворение

обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике.

Зато в «Утопленнике» — ни одного вопроса. Зато — сюрпризы. Во-первых, эти дети, то есть мы играем одни на реке, во-вторых, мы противно зовем отца: тятя! а в-третьих, — мы не боимся мертвеца. Потому что кричат они не страшно, а весело, вот так, даже подпевают: «Тятя! Тятя! Наши сети! Притащили! Мертвеца!» — «Врите, врите, бесенята, — заворчал на них отец. — Ох, уж эти мне ребята! Будет вам, ужо, мертвец!» Этот ужо-мертвец был, конечно, немножко уж, уж, которого, потому что стихи, зовут ужо. Я говорю: немножко-уж, уж, которого я никогда не додумывала и, из-за его не совсем-определенности, особенно громко выкрикивала, произнося так: «Будет вам! Ужо-мертвец!» Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая: в земле живут ужи — мертвецы, а этого мертвеца зовут Ужо, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал.

Ужей я знала по Тарусе, по Тарусе и утопленников. Осенью мы долго, долго, до ранних черных вечеров и поздних темных утр заживались в Тарусе, на своей одинокой — в двух верстах от всякого жилья — даче, в единственном соседстве (нам — минуту сбежать, тем — минуту взойти) реки — Оки («Рыбы мало ли в реке!»), — но не только рыбы, потому что летом всегда кто-нибудь тонул, чаще мальчишки — опять затянуло под плот, — но часто и пьяные, а часто и трезвые, — и однажды затонул целый плотогон, а тут еще дедушка Александр Данилович умер, и мать с отцом уехали на сороковой день и потом остались из-за завещания, и хотя я знала, что это грех — потому что дедушка совсем не утонул, а умер от рака — от рака? Но ведь:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились!

…словом, сквозь стеклянную дверь столовой — привиденские столбы балкона, а под ними, со всей рекой, притащившейся по пятам:

Уж с утра погода злится,

Ночью буря настает,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот —

Ужо-мертвец с неопределенным двоящимся лицом дедушки Александра Даниловича и затонувшего плотогона.

Зато другие страшные стихи, «Вурдалак», были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки — своим потом и от страху бледностью — возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них (во мне) — страсти страха. «Это, верно, кости гложет красногубый вурдалак». Кто, вообще, гложет кости? Собака. Вурдалак — собака, с красными губами. Черная (потому что — ночь) собака с. красными губами. А дурак (бедняк) испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище-вурдалак сразу оказывается той собакой, которой у Пушкина оказывается только в последней строке, то есть ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только слово вурдалак, то есть название стихотворения. Конечно, слово вурдалак — неприятное (немножко лакающее), и та самая собака — не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак, и красные губы ее, видные даже ночью, сомнительны, и занятие ее — приносить свою кость именно на могилу — несколько гадостное, но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Вот если бы Ваня шел через кладбище без всякой собаки — тогда было бы страшно. А так собака, наоборот, оживляет. (То же, что в «Вие», где страшно только одиночество Хомы с покойницей и где страх — явлением Вия, и потом и виев — разряжается. Когда много — всегда весело.)

Ну, странная, подозрительная собака, а Ваня — явный бессомнительный дурак — и бедняк — и трус. И еще — злой: «Вы представьте Вани злость!» И — представляем; то есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом. Потому что — злой… Ибо для правильного ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака — действие этим соседством предуказано.

И кончалось, как всегда со всем любимым, — слезами: такая хорошая серо-коричневая, немножко черная собака с немножко красными губами украла на кухне кость и ушла с ней на могилу,

чтобы кухарка не отняла, и вдруг какой-то трус Ваня шел мимо и дал ей сапогом. В ее чудную мокрую морду. У-у-у…

Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были — «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи — Невидимкою луна…»

Все страшно — с самого начала: луны не видно, а она — есть, луна — невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и — о, сладкое обмирание — ими. Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом ты — летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною, — той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним — Бесов, и над Пушкиным и Бесами — сама летит.

Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было — меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в «Бесах» и к бесам! Собаку я жалела — утробно:

низкой и жаркой сочувственной жалостью чрева, жалостью-защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть, и самого Ваню на съедение. Бесов же — жалостью высокой, жалостью — восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что «…домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» — только так, что никого они не похорони, не выдай замуж — всё равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают — чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что, — а потому что они — они и никогда другими не будут и быть не могут. (Шепотом: «Потому что Бог их проклял!») Любовь к проклятому.

И еще: я ведь знала, что они — тучи! Что они — серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, ими — можно только мчаться! Что это — воздух, который воет! Что их — нет.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна…» — опять

пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны… туманы…). «На печальные поляны льет печальный свет она…» О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано — печалью, точно Пушкин этим повторением печаль луною как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика», то сразу попадала в:

Вы, очи, очи голубые,
Зачем сгубили молодца?
О люди, люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?

И эти очи голубые — опять были луною, точно луна на этот раз в два раза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у дйвицы-души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи, очи, голубые» — не Пушкин, а песня, а может быть, и романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где всё — ещё всё, этого не знаю, потому что «разрывая сердце мое» и «сердечная тоска», молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь — одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. Вошли в состав.

«Подруга дней моих суровых — Голубка дряхлая моя!» — как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и рокочущий, сизо-голубой голубиный двор. (Моя няня была бы — голубка, а Асина — Мухина.)

Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать — («А не думаешь ли, голубка? — А не полагаешь ли, голубка? А Бог с ними, голубка!») — кроме как голубка не называл никак, но подруга было новое, мы с Асей росли одиноко, и подруг у нас не было. Слово подруга — самое любовное из всех — впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых — Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка — значит,

очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта — голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. Скажу: подруга, скажу: голубка — и заболит.

Кого я жалела? Не няню. Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом, все-таки няня сидит, вяжет, мы ее видим, а он — что? А он — где? «Одна в глуши лесов сосновых — Давно, давно ты ждешь меня». Она — одна, а его совсем нет! Леса сосновые я тоже знала, у нас в Тарусе, если идти пачёвской ивовой долиной — которую мать называла Шотландией — к Оке, вдруг — целый красный остров: сосны! С шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия — целый пожар!

Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом, я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. «Ты под окном своей светлицы…» — у нее очень светлое окно, она его все время протирает (как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа) — чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не едет. Не приедет никогда.

Но любимое во всем стихотворении место было — «Горюешь будто на часах», причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела… Соответствующих часовых видений — множество. Сидит няня и горюет, а над ней — часы. Либо горюет и вяжет и все время смотрит на часы. Либо — так горюет, что даже часы остановились. На часах было и под часами, и на часы, — дети к падежам нетребовательны. Некая же, все же, смутность этого на часах открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения:

есть часы зальные, в ящике, с маятников, есть часы над ларем — лунные, и есть в материнской спальне кукушка, с домиком, — с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая… А няня ведь с первой строки — голубка…

Так, на часах было и под часами, и на часы и в конце концов немножко и в часах, и все эти часы еще подтверждались последующей строкою, а именно — спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни

и кончалось мое хрестоматическое «К няне».

Составитель хрестоматии, очевидно, усомнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечастности. Конечно, я, кроме своей тоски, из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но — запомнила. И — запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами — секундная заминка, точно это пушкинский конец к этому хрестоматическому — приращен. Да, чту знаешь в детстве — знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве — не знаешь на всю жизнь.

Из знаемого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была нй женщина. Из «К няне» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину — потому что родная — можно любить больше, чем молодую — потому что молодая и даже потому что — любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной.

Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения — Марселя Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности.

———

Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до-семилетней и семилетней были — ряд загадочных картинок, — загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала — я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто — видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными.

Делибаш. «Перестрелка за холмами — Смотрит лагерь их и наш — На холме пред казаками — Вьется красный делибаш». Делибаш — бес. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются — казак с бесом. Каково же было мое изумление — и огорчение, когда в Праге, в 1924 году, сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего услышала, что делибаш — черкесское знамя, а вовсе не сам черкес (бес). «Помилуйте, ведь у Пушкина „Вьется красный делибаш!“ Как же черкес может виться?

Знамя — вьется!» — «Отлично может виться. Весь черкес со своей одеждой». — «Ну, уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениальность. Что может виться? Знамя». — «Я всегда понимала „Делибаш уже на пике, а казак без головы“ — что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось». — «Чистейшая поэтическая фантазия! Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся! „Делибаш уже на пике“ значит — знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен». — «Ну тбк мне что-то обидно: почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как знамя может быть на пике?? Мне по-муему больше нравилось». — «Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал. Не будете же вы исправлять Пушкина, как большевики».

Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш — знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения — выдумала, и вдруг — в 1936 году — сейчас вот — глазами стихи перечла и — о, радость!

Эй, казак, не рвися к бою!
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку!

Это знамя-то срежет саблею кривою казаку с плеч башку?

Так бедный семилетний варвар правильнее понял умнейшего мужа России, нежели в четырежды его старшие воспитанники Пражского университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Кто такое? — Бонапарте вопросил» — с двумя неизвестными, по одному на каждую строку: Черногорцами и Бонапарте, Черногорцами, усугубленно-неизвестными своей неизвестностью второму неизвестному — Бонапарте.

«А Бонапарте — что такое?» — нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя одну с ней нашу для меня злосчастную прогулку «на пеньки»: мою первую и единственную за все детство попытку вопроса: «Мама, что такое Наполеон?» — «Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон?» — «Нет, мне никто не сказал». — «Да ведь это же — в воздухе носится!»

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей

безнадежнейшей опозоренности: я не знала того — что в воздухе носится! Причем, «в воздухе носится» я, конечно, не поняла, а увидела: что-то, что называется Наполеоном и что в воздухе носится, чту очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими «Воздушным кораблем» и «Ночным смотром».

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми — представляла, Пушкиным — представляла, и горы, на которых живет это племя злое, — совершенно черные:

черные люди в черных горах: на каждом зубце горы — по крохотному злому черному черногорчику (просто — чертику). А Бонапарте, наверное, красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте — тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить — забыла).

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин.

———

— Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! — это длинный, быстрый, с немножко-волчьей — быстрой и смущенной — улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. — У мамы сейчас был доктор Ярхо — и сказал, что у нее чахотка — и теперь она умрет — и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я — я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

— Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедем к морю. Вы рады, что мы едем к морю?

— Нет! — уже всхлипывала Ася. — Потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться…

— Врет! врет! врет.

— …вся в белом. Правда, Муся, он говорил?

— Правда, Муся, что я не говорил? Что это она сказала?

— Во всяком случае — кто бы ни сказал, — а сказал, конечно,

ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, — сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а наоборот, мы все поедем к морю.

К Морю.

Все предшествовавшее лето 1902 года я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на пеньки, чтобы мойе было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь путом, — от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлогоднего предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженого до неносимости и невыносимости платья — обливаясь путом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикея, переписываю черным отвесным круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку — «К Морю». Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка — десть писчей бумаги, сложенной ввосьмеро, где нужно разрезанной и прошитой посредине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается — вроде меня в моих пикеях и шевиотах — как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник — с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето — которая?

Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы — и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом — гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десть — и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: «Прощай, свободная стихия!»

Стихия, конечно, — стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что, когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» — предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый

камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще — это туда. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть потому что между нами Ока, еще в La Chaux de Fonds, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Guй, bon guй! Il a frappй dix heures!»[45] — и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму; вотще — это в чуждую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и с другим именем — может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.

Ты ждал, ты звал.
Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован
У берегов остался я.

Вотще — это туда, а могучей страстью — к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания туда Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет — что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с моими детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда вотще, туда, то, там начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами… И как мы люто ошибаемся, называя это — тем, и как не ошибались — тогда!).

Но вот имя — без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сил отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) — и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы…
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон…

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон — тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало — чтобы полюбить на всю жизнь?

…И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.

Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть — море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится гений. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море…» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду…» — ведь он же это морю — обещает, как я — моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что — забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду — Твой гул в вечерние часы…» (Не забуду — буду —)

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

И вот — видение: Пушкин, переносящий, проносящий над головой — все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое — точно он весь в огромном ду неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе — все море — в пустыню и там прольет его — и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила волн, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.

———

Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю — она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит К Морю, то есть дает обещание, которое не может сдержать.

С этой минуты я ехала К Морю, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома — упорное — сомнамбулическое-и диктаторское, и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что мечта и один — одно, что мечта — уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество — драконов ее закон и единственное поле действия — пока с этим смиришься — жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.

— Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

— Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

— Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семёныча, яичко.

— Ты его треснула.

— Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

— Тогда давай. Только очень скоро давай — помечтаем, потому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли — и дачи — и глицинии — в скалу Деву и в скалу Монах, во все что угодно превращалось — кроме самого себя, и от моего моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания.

Чего же я от них — Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, — хотела?

Может быть — памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним — говора волн? Но нет — даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем К Морю не было, были шумы — той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения — того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, — звуки слов, и — самое главное — тоска: пушкинского призвания и прощания.

И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать — назвать — ничего.

———

Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали — мы. Вся — синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.

Черно-синие сосны — светло-синяя луна — черно-синие тучи — светло-синий столб от луны — и по бокам этого столба — такой уж черной синевы, что ничего не видно — море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное — море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны — лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: «Приезжайте скорее. Здесь чудесно».

Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу

украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец — со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила — как та же девушка с любимым — тайно, опасно, запретно, блаженно.

На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало — море. Мое море, совсем черное от черноты парты — и дела. Ибо украла я его — чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие — забыли. Чтобы я одна. Чтобы — мое.

Так, с глубоко- и жарко-розовой австралийской раковиной у уха, с сине-черной открыткой у глаз я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил — день.

———

— Ася! Муся! Глядите! Море!

— Где? Где?

— Да — вот!

Вот — частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу — плоская серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той, на картине явления Христа народу.

Это — море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.

Но — мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив — всегда так. То море — завтра.

Но завтра и много, много завтр опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы — отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это — залив.

Словом, я все еще К Морю ехала, и чем ближе подъезжала — тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и

совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам — утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море — все отступало, ибо, когда мы наконец после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Викторов-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» — была ночь и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».

Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами — ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет — и будут наши оба здесь.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами — все блаженство оттяжки.

О, как я в эту ночь к морю — ехала! (К кому потом так — когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь — через всю черноту ночи — ехало: ко мне одной — всем собой.

Море было здесь, и завтра я его увижу. Здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.

Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу — то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.

Это был самый великий канун моей жизни.

Море — здесь, и его — нет.

———

Утром, по дороге к морю, Валерия:

— Чувствуешь, как пахнет? Отсюда — пахнет!

Еще бы не почувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но… в том-то и дело, что не узнаю: свободная стихия так не пахла, и синяя открытка так не пахла.

Настораживаюсь.

———

Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)

Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки.

— Эта скала называется лягушка, — торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. — Это — наша лягушка.

От меня до лягушки — немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).

— А это — грот, — поясняет Володя, глядя себе под ноги, — тоже наш грот, здесь все наше, — хочешь, полезем! Только ты провалишься!

Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну — чтобы мать не узнала.

Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка — еще вода, много, чем дальше — тем бледней, и что кончается она белой блестящей линеечной чертою — того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая — и башмаки соленые.

Море голубое — и соленое.

И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:

Прощай, свободная стихия!

Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом — нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется — какое желание? — ах, К Морю! — но, значит, уже никакого желания нет? но все равно — даже без желания! я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:

Александр Сергеевич Пушкин —

и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как тот гранит…

———

Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться — точь-в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое К Морю было — пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн его души, и естественно, что я в Средиземном море со скалой-лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди — не узнала.

В пушкинскую грудь — в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.

(А вернее всего — в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)

К Морю было: море + любовь к нему Пушкина, море + поэт, нет! — поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно — Борис Пастернак:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха, —

опустив или подразумев третью и единственную: лирическую. Но К Морю было еще и любовь моря к Пушкину: море — друг, море — зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин — забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает, и вновь обещает. Море — взаимное, тот единственный случай взаимности — до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.

Такое море — мое море — море моего и пушкинского К Морю могло быть только на листке бумаги — и внутри.

И еще одно: пушкинское море было — море прощания. Так с морями и людьми — не встречаются. Так — прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин — навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.

Мое море — пушкинской свободной стихии — было море последнего раза, последнего глаза.

Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» — или без всякого оттого — я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь В на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием — с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила — белым по серому — шифером по шиферу — и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И — больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась — прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются — никогда.

1937

ХЛЫСТОВКИ

Существовали они только во множественном числе, потому что никогда не ходили по одной, а всегда по две, даже с одним решетом ягод приходили по две, помоложе с постарше, — чуть-помоложе с чуть-постарше, ибо были они все какого-то собирательного возраста, — возраста собственного числа — между тридцатью и сорока, и все на одно лицо, загарное, янтарное, и из-под одинакового платочного — белого, и бровного черного края ожигало вас одинаковое, собирательное, око, тупилось в землю крупное коричневое веко с целой метелкой ресниц. И имя у них было одно, собирательное, и даже не имя, а отчество: Кирилловны, а за глаза — хлыстовки.

Почему Кирилловны? Когда никакого Кирилла и в помине не было. И кто был тот Кирилл, действительно ли им отец, и почему у него было сразу столько — тридцать? сорок? больше? — дочерей и ни одного сына? Потому что тот рыжий Христос, явно не был его сын, раз Кирилловнам — не брат. Теперь бы я сказала: этот многодочерний Кирилл существовал только как дочернее отчество. Тогда же я над этим не задумывалась, как не задумывалась над тем, почему пароход — «Екатерина». Екатерина — и всё тут. Кирилловны — и всё тут.

Острое ж звучание «хлыстовки», могшее бы поразить несоответствием с их степенностью и пристойностью, мною объяснялось ивами, под которыми и за которыми они жили — как стая белоголовых птиц, белоголовых из-за платков, птиц — из-за вечной присказки няни, ведшей мимо: «А вот и ихнее гнездо хлыстовское», — без осуждения, а так, простая отмета очередного с дачи Песочной в Тарусу этапа: «Вот и часовню миновали… Вот и колода видна: полдороги… А вот и ихнее…»

Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу. Последний — после скольких? — спуск, полная, после столького света, тьма (сразу полная, тут же зеленая), внезапная, после той жары, свежесть, после сухости — сырость, и, по раздвоенному, глубоко вросшему в землю, точно из нее растущему бревну, через холодный черный громкий и быстрый ручей, за первым по левую руку ивовым плетнем, невидимое за ивами и бузиною — «ихнее гнездо хлыстовское». Именно гнездо, а не дом, потому что дом за всеми этими зарослями был совершенно невидим, а если и приоткрывалась изредка калитка,

глаз, потрясенный всей той красотой и краснотой, особенно смородинной, того сереющего где-то навеса и не отмечал, не включал его, как собственного надбровного. О доме Кирилловн никогда не было речи, только о саде. Сад съедал дом. Если бы меня тогда спросили, чту хлыстовки делают, я бы, не задумываясь: «Гуляют в саду и едят ягоды».

Но еще о входе. Это был вход в другое царство, этот вход сам был другое царство, затянувшееся на всю улицу, если ее так можно назвать, но назвать так нельзя, потому что слева, кроме нескончаемого их плетня, не было ничего, а справа — лопух, пески, та самая «Екатерина»… Это был не вход, а переход: от нас (одинокого дома в одинокой природе) — туда (к людям, — на почту, на ярмарку, на пристань, в лавку Наткина, позже — на городской бульвар), — средостояние, междуцарствие, промежуточная зона. И, вдруг, озарение: а ведь не вход, не переход — выход! (Ведь первый дом — всегда последний дом!) И не только из города Тарусы выход, — из всех городов! Из всех Тарус, стен, уз, из собственного имени, из собственной кожи — выход! Из всякой плоти — в простор.

Из всей Тарусы, верней, из всех «гостей», то есть сластей, чужих детей… я больше всего любила эту секунду спуска, входа, нисхождения — в зеленую, холодную, ручьевую тьму, миновения — серого нескончаемого ивово-бузинного плетня, за которым — так это у меня и осталось — все ягоды зреют сразу, клубника, например, вместе с рябиной, за которым всегда лето, все лето сразу, со всем, чту в нем красного и сладкого, где стуит только войти (но мы никогда не входили!), все тебе в руку сразу: и клубника, и вишни, и смородина, и, особенно, бузина!

Вот яблок не помню. Помню только ягоды. Да яблок, как ни странно в таком городе, как Таруса, где их в урожайный год В каждый был урожайным! — на базар выносили бельевыми корзинами и их уж и свиньи не ели, — яблок у Кирилловн не было, потому что приходили они за ними к нам, в наш «старый сад», то есть нами состаренный и запущенный, с одичавшими ценнейшими сортами, полусъедобными, шедшими только на сушку. Но не они приходили за яблоками, не те, степенные, дулуокие, а оне, то есть ихняя Богородица с Христом, рыжим, худым, с раздвоенной бородой и глазами — теперь бы сказала: очень рвано одетым и босым, их Христос — с ихней Богородицей, старой, уже не янтарной, а кожевенной, кожаной, и хотя и не рваной, но все-таки страшноватой. Отношение у родителей к

этим набегам было… судьбинное.

«Опять Христос приходил за яблоками…» или «Опять Богородица с Христом возле ходят…» Те не спрашивали, эти не запрещали. Богородица с Христом были вроде домашнего бедствия, положенной напасти, рока, унаследованного вместе с домом, потому что Кирилловны в Тарусе были раньше нас, раньше всех, может быть, даже раньше самих татар, ржавые ядра которых (?) мы находили в ручье. Это был не набег, а побор. Нужно, однако, прибавить, что, когда мы, дети, их за этим делом заставали, они, особенно Христос, все-таки сторонились, хоронились, уединялись за другую яблоню, где Богородица уже торопливо донабивала большой холщовый мешок. Не говорили они в такие минуты друг с другом ничего, да и нам бы в голову не пришло голосом подтвердить свое присутствие, мы как-то молчаливо условились, что они — не делают, а мы — не видим, что кого-то, либо их, либо нас, а может быть, и тех, и других — нет, что это все — так себе…

— Папа! Христа видели!

— Опять приходил?

— Да.

— Ну, и Христос с ним!..

Про унесенные яблоки родители не спрашивали, а мы не сообщали. Иногда мы рыжего Христа заставали тут же спящим в стогу сена. Старая Богородица сидела рядом и обвевала его от мух. Тогда мы, не сказав ни слова, на цыпочках, высоко подняв брови и глазами указывая друг другу на «находку», уходили, отходили к нашей «яме», где сидели, болтая ногами, косясь на всё-спящего и всё отгоняющую. Иногда няня не нам, а при нас говорила — бонне, что Христос этот горький пьяница и что опять его подобрали в канаве, но так как мы сами сидели в канаве, нас это не изумляло, слово же горький для нас объясняло пьяницу, вызывая во рту живую полынь (мы постоянно ели всё), после которой можно выпить целое ведро.

Иногда Христос пел, а Богородица подпевала, и нас совершенно не удивляло, что поет она больше мужским, а он — скорее женским, тонким, и не удивляло, во-первых, потому, что цветаевских детей ничто не удивляло, во-вторых же, потому, что

она была темная и крепкая, а он — светлый и слабый, и получалось, что каждый поет именно своим голосом, себе в масть и в мощь, — как комар, например, и шмель. И шла в нашу зеленую канаву из яблонной зеленой дичи песня про какие-то сады зеленые… Мы даже никогда не задумывались (и сейчас не знаю), были ли они мать и сын, так же, как никогда не спросили не только родителей, но даже няни, которой не боялись, почему Богородица и Христос, и не потому, что мы верили, что это — те, с иконы (те — на иконе, а кроме того, все-таки — яблоки…) — не те, но и не не-те. Может быть, и сами имена внушали трепет — не может же каждый называться Богородицей и Христом! — и устанавливали какую-то их несомненность и неподсудность. Наше тогдашнее чувство рассуждало приблизительно так:

«Раз они воруют яблоки, то не совсем Христос и Богородица, но так как они все-таки Христос и Богородица, значит, не совсем воруют». Да и не воровали — брали, а скрывались, теперь вижу, не от нас (дети сами — нищие и воры), а от глаз. Так звери, так дети (и не только дети и звери, прошу верить!) не выносят, когда на них смотрят. Словом, для нас эта бродячая пара была не просто — люди, а если не настоящие те, то все-таки как-то — тоже. Жили (то есть ходили, про жизнь ничего не знаю) Христос и Богородица от других отдельно, и всегда вместе, никогда порознь, и я часто думала, на них глядя: «Так, должно быть, та Богородица ходила за тем Христом», — потому что она именно за ним ходила, именно по пятам, ровно настолько отставая, чтобы не наступить ему на пяту (босую). Ходила, и телом, будто поддерживала, — он весь был расслабленный, весь расстроенный, точно шел не туда, куда сам хочет, а куда нога хочет, да и нога-то не твердо знала, куда: то в колею, то о камень, то на кочку, а то вовсе без всякого смыслу — вкось. Так их встречали и на базаре, и по дорогам, и в лопушиных полях, на Оке… Но — как те, сестры, за яблоками никогда не приходили, так эти, мать и сын, ягод никогда не приносили, даже и подумать бы дико, что вдруг Христос — викторию принес! И, поскольку низко кланялись при встрече Кирилловны, постольку никогда не кланялась Богородица, про Христа и говорить нечего — не только взглядом, всем телом мимо глядел! — Барыня! Кирилны викторию принесли… Брать прикажете? Стоим в сенях, мать спереди, мы, по трусости, чтобы не выказать внезапной на лице жадности (бессознательное матерью преследовалось больше всего!) — за ней, чуть-чуть из-за ее бока вытягивая шею. Оторвешься, наконец, от клубничной россыпи и вдруг встретишься с только чуть поднятым от земли (мы были такие маленькие!) хлыстовкиным

взглядом, с понимающей ее усмешкой. И пока пересыпают из решета в миску ягоды, Кирилловна (которая? всй одна! одна во всех тридцати лицах, под всеми тридцатью платками!), не отпуская все еще потупленными глазами уходящую спину матери, спокойно и неторопливо — в ближайший, смелейший, жаднейший рот (чаще — мой!) ягоду за ягодой, как в прорву. Откуда она знала, что мать не позволяет есть — так, до обеду, по многу сразу, вообще — жадничать? Оттуда же, откуда и мы, — мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами — всё.

Кирилловны, удостоверяю это с усладой, меня любили больше всех, может быть, именно за эту мою жадность, цветущесть, крепость, — Андрюша был высок и худ, Ася мала и худа, — за то, что такую вот дочку они бы, бездетные, хотели, одну — на всех!

«А меня хлыстовки больше любят! — с этой мыслью я, обиженная, засыпала. — Асю больше любят мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте „больше любил“ — всех), а меня зато — дедушка и хлыстовки!» Поблагодарил бы меня чинный остзейский выходец за такое объединение!

Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы одно самое райское, потому что — единственное. Хлыстовки нас всем семейством пригласили на сенокос, и, о удивление, изумление (мать не выносила семейных прогулок, вообще ничего — скопом, особенно же своих детей — на людях), о, полное потрясение, нас — взяли. Настоял, конечно, отец.

— Эту будет тошнить, — возражала поверх моей заранее виноватой головы мать, — непременно растрясет на лошадях и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде тошнит, совершенно не понимаю, в кого она. Папашу (так она звала того «дедушку») не тошнит, меня не тошнит, тебя не тошнит, наконец ни Лёру, ни Андрюшу, ни Асю не тошнит, а ее от одного вида колес уже тошнит.

— Ну, стошнит… — кротко соглашается отец, — стошнит, и вся беда… (И, явно уже думая о другом:) стошнит — и чудесно. (И, спохватываясь:) А может быть, и нет — на свежем воздухе…

— При чем тут свежий воздух? — горячится мать, заранее оскорбленная дорожным зрелищем. — Что вагон — что воз — что лодка — что ладно, на рессорах, и без рессор, на пароме, на

ascenseur'e[46] — всегда тошнит, везде тошнит, а еще морской назвали!

— Меня пешком не тошнит, — робко-запальчиво вставляю я. расхрабрившись от присутствия отца.

— Посадим лицом к лошадям, возьмем мятных лепешек, — уговаривает отец, — платье, наконец, на смену…

— Только я с ней рядом сидеть не хочу! Ни рядом, ни напротив! — раздражается Андрюша, давно уже мрачневший лицом. — Каждый раз меня с ней сажают, как тогда в вагоне, помнишь, мама, когда…

— Возьмем одеколону, — продолжает отец, — а рядом сяду — я. (Ты только, пожалуйста, не удерживайся, — конфиденциально, мне, — замутит — скажи, остановим лошадей, и слезешь, продышишься. Не на пожар ведь… А действительно странно: отчего тебя всегда тошнит? — И, примирительно: — Природа, природа. ничего с ней не поделаешь. Даже так можешь: «Папа, мне хочется сорвать во-он тот мак!» Соскочишь побыстрее и побежишь подальше — чтобы не расстраивать маму!)

Словом, поехали — и с тем самым моим маком в руке — доехали — до хлыстовского сенокоса, далеко за Тарусой, в каких-то их разливанных лугах.

— Ай Марина-малина, чего ж ты такая зеленая? Рано встала, голубка? Не проспалась, красавица? — Кирилловны — окружая, оплетая, увлекая, передавая из рук в руки, точно вовлекая меня в какой-то хоровод, все сразу и разом завладевая мной, словно каким-то своим общим хлыстовским сокровищем. Своих — ни папы, ни мамы, ни бонны, ни няни, ни Лёры, ни Андрюши, ни Аси, я в том раю не помню. Я была — их. С ними гребла и растрясала, среди них, движущихся, отлеживалась, с ними ныряла и вновь возникала, как та жучка в бессмертных стихах («впопыхах!»), с ними ходила на ключ, с ними разводила костер, с ними пила чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая сахар, с ними бы…

«Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь…» — «Мама не позволит». — «А ты бы осталась?» Молчу. «Ну, конечно бы не осталась — мамашу жалко. Она тебя небось во-он как

любит?» Молчу. «Небось, и за деньги не отдаст?» — «А мы мамашу и не спросим, сами увезем! — какая-то помоложе. — Увезем и запрем у себя в саду и никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами за плетнем. (Во мне начинает загораться дикая жгучая несбыточная безнадежная надежда: а вдруг?) Вишни с нами будешь брать, Машей тебя будем звать…» — та же, певуче. «Не бойся, голубка, — постарше, приняв мой восторг за испуг, никто тебя не возьмет, а придешь ты к нам в гости в Тарусу с папашей и с мамашей, али с нянькой — небось каждый воскресный день мимо ходите, все на вас смотрим, вы-то нас не видите, а мы-то все-о видим, всех… В белом платье придешь пикеевом, нарядная, в башмачках на пуговках…» — «А мы тебя оденем в на-аше! — подхватывает та певучая неугомонная, — в черную ря-ску, в белый платочек, и волоса твои отрастим, коса будет…» — «Да что ты ее, сестрица, страшишь! Еще впрямь поверит! Каждому своя судьба. Она и так наша будет, — гостья наша мечтанная, дочка мысленная…»

И, обняв, прижав, подняв, поддав — ух! на воз, на гору, в море, под небо, откуда все сразу видно: и папа в чесучовом пиджаке, и мама в красном платочке, и Августа Ивановна в тирольском, и желтый костер, и самые далекие зализы песка на Оке…

Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень:

Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Париж, май 1934

ТО, ЧТО БЫЛО

I. ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТ

Он был учителем Андрюши, студент в серой тужурке, с добрыми карими глазами, щурившимися от света и смеха. Утром он ходил в университет, после обеда учил Андрюшу Закону Божьему, русскому и арифметике, вечером был наш. Т. е. это так говорилось, а по-настоящему он был только Асин. Когда она за обедом поднимала свое вечное и-и-и-и, — а это случалось сначала за супом, потом за вторым, — после долгих няниных уверений, что от супа растут, а от котлеты хорошеют, после маминого стояния на коленях у ее креслица, после папиного финального:

«Иль съешь или вон из-за стола!», стоило ему только шепнуть ей несколько слов на ухо, как она бралась за ложку и молча глотала все требовавшееся.

Для него она пожелала сняться. — «Мама, он уедет и увезет меня с собой!» В фотографии она положила одну ногу на другую, улыбнулась и сидела неподвижно даже после того, как фотограф любезно пригласил ее сойти с места. Когда ей на Рождество подарили куклу, она назвала ее Аркашей, хотя слишком русский костюм скорее напоминал полотера. По вечерам он рассказывал нам сказки, — конечно не нам, а только ей. — «Знаешь эдак, Асенька…» (он немного заикался) «…жила, эдак, одна старушка, эдак. И вот приплыла она к лежанке… Не старушка, эдак, а старик еще один был. Вышел он утром к морю, эдак, ты понимаешь? Смотрит — в сетях, эдак, старушка, то бишь рыбка… Ты понимаешь?»

— Да! — твердо отвечала она.

— И вот, эдак, зажили они втроем. Смотрит старичок — опять разбитое корыто, а в нем, эдак, старушка…

Я ясно чувствовала, что здесь что-то не то. Когда мама читала нам о старичке, старушке и рыбке, выходило гораздо понятнее. Во-первых, рыбка была не простая, а зо-ло-та-я, во-вторых, случались разные вещи, о к<отор>ых Аркадий Александрович совсем не упоминал, в-третьих, все кончалось не так скоро.

Но Асе его сказка нравилась больше маминой, — ведь рассказывал он. Когда мы гуляли на бульваре, Ася первая

замечала его в группе студентов на скамейке у памятника Пушкину.

Ни нянины просьбы, ни мое ворчанье не помогали. Приходилось бросать лопатки, снежные домики, брать ее за руку и мчаться с ней что есть духу к заветной скамейке.

— А-а, это ты, Асенька? Гуляешь, эдак? Да, хорошо… А это мои товарищи… — смущенно бормотал Аркадий Александрович, потирая красные руки без перчаток. Ася сидела у него на коленях и считала:

— Раз, два, четыре… Когда я вырасту… Пять и три… Тогда мы с тобой… Раз и два…

Студенты, не понимая, смеялись. Аркадий Александрович смеялся и понимал, — Ася высчитывала по пальцам, сколько лет ему еще ждать свадьбы с ней.

Однажды утром к нам в комнату бомбой влетела наша немецкая бонна. — Забрали, забрали! Verloren! Grosser Gott! Er jung!.[47] Что видет теперь из ней? Нищасни маладой шилавек! Нагрубил профессор! Ах, мой Бог! Ни риба ни мяс!

Мы поняли только последнее: Аркадий Александрович ни рыба, ни мясо. Но чего же тут такого ужасного?

Ася тем не менее затянула свое и-и-и, сначала тихо, потом все громче, безудержнее, безутешнее…

Не пришлось ей проститься с Аркадием Александровичем. Он был выслан из Москвы. Много времени спустя мама застала ее за странным занятием: она собирала на коленях пыль по углам и нежно целовала. На вопрос: «Да что с тобой?» сквозь внезапные и-и-и с трудом можно было понять: «Как тужурка… тоже серая!»

Ей тогда было 4,5 года.

А когда Онегин потом пришел к Татьяне, она была уже замужем и не могла его любить. «Но я другому отдана и буду век ему верна…» А раньше его она любила, а он ее нет.

Я подхожу к зеркалу. Лицо круглое и какое-то глупое. Нет, совсем не похожа на Татьяну, скорей на Ольгу. Но Ольга скучная.

— Муся, обедать!

Но ведь Татьяна тоже была сначала маленькой. Может быть… может быть, она тоже сначала была такая? Она любила книги, я тоже люблю книги. Она не любила играть, я тоже не люблю играть. Совсем я не похожа на Ольгу! Очень нужно брать Ольгу, пусть Ася ее берет! Я решительно не хочу ее.

— Муся, обедать!

Все уже сидят за столом. Мое место рядом с мамой. Он как раз напротив меня, между Лёрой и Альфонсинкой.

— Мама, можно мне сесть рядом с Александром Павловичем?

— А зачем?

— Так!

— Ну, иди. Только совершенно не понимаю, зачем это тебе понадобилось.

Мы меняемся с Лёрой местами.

За обедом всегда говорят о чем-то непонятном. Папа рассказывает о филологах и юристах. Нам лучше нравятся филологи. Раз вечером мы видели одного юриста, — он был в желтом костюме, говорил очень громко, рассказывал папе свою жизнь, потом писал ее, потом попросил денег, а когда уходил, свалился с лестницы и сказал, что это часто с ним бывает.

Слава Богу, что Александр Павлович не юрист. Он — филолог, папа тоже филолог. Подали третье. Опять blanc-manger. [48] Нам его всегда дают в сочельник, когда мы обедаем наверху в

детской, и мы его выкидываем в форточку. Но ведь сегодня не сочельник! Ася плаксиво морщится, Андрюша льет воду в тарелку, я грустно прошу маму позволения не есть.

— Что с тобой, Мусенька? — удивляется Александр Павлович.

— Так, что-то есть не хочется! — безнадежно отвечаю я. Пусть он думает, что от любви к нему (я ничего еще не сказала, но он же должен понять!).

А может быть, правда от любви! Когда очень сильно кого-нибудь любишь, — это рассказывала нам Альфонсинка, — то никогда ничего не ешь. Одна барышня даже умерла, и он плакал на ее могиле и приносил ей незабудки. Потом он тоже умер.

Обед кончен, и мы наверху.

— M-elle Alphoncine, j'ai besoin d'écrire une lettre!

— A qui?

— Donnez moi je Vous prie du papier.[49]

Она вынула розовую бумажку. Я пишу, она глядит мне через плечо. Письмо не ладится. Во-первых, я начала: «Дорогой Онегин!» А вдруг он не поймет, что это ему? Во-вторых, я не знаю, как писать: «терпение». Альфонсинка тоже не знает.

— Oh, je sais ce que nous allons faire. J'ai une trés jolie lettre d'amour, tu n'as qu'a la traduire.[50]

Сказано — сделано. «Alexandre, que c'est mal…»[51] Я перевожу: «Александр, какой ты гадкий» — «de trahis ainsi la confiance…»[52] «…что выдаешь так доверие…»

Как хорошо писать с французского! Все так торжественно, такие трудные умные слова!

Только почему на ты? Альфонсинка утешает меня, что это всегда так делается. Письмо готово. Но как передать его? Альфонсинка не хочет, — вдруг мама увидит! Андрюша терпеть не может Александра Павловича и нарочно не передаст, Лёра ушла, — Ася!

— Ася, а я тебе подарила вчера фартук для Аркаши, — помнишь?

— Аркаша фартуков не носит. Он мальчик!

Молчание.

— Ася: хочешь моего прошлогоднего червяка в яичке, белого?

— А что я тебе дам?

— Ничего, я тебе его так подарю!

Ася уничтожающе смотрит на меня.

Я смущаюсь: Только ты одну вещь отнесешь Александру) Павловичу, хорошо?

— А он целый?

— Да, я тебе еще яичко дам!

— Еще зеленый карандаш дай, тогда я пойду…

Зеленый карандаш! Ни у кого нет зеленого… Да, но синий с желтым ведь зеленый.

— Бери!

Мы три раза стукаемся лбом, и Ася летит к Алекс<андру> Павловичу, крича на весь дом: «Вам Муся письмо написала! Вам Муся письмо прислала!»

Проснувшись на другой день, я сразу почувствовала, что сделала какую-то глупость. А вдруг он за завтраком прочтет его вслух? Папа непременно выгонит меня из-за стола. Уроки я готовила невнимательно, на рояле играла еще хуже, — мой учитель Василий Иванович и мама никак не могли понять, что со мной сделалось. Наконец пробило двенадцать. Зовут завтракать. А может быть, не пойти совсем? Прочтут без меня. Но все равно придется идти обедать. А может быть, и обедать не идти? Тогда он принесет мне незабудки. Попросить его не читать? Но поздно: я уже за столом.

Разговор идет о Лёриной подруге Раечке Оболенской.

— Терпеть не могу этого типа курсистки! — говорит мама. — Ни женственности, ни такта…

Лёра молчит и смотрит в тарелку. Сейчас она встанет из-за стола и начнется скандал.

— Раечка — прекрасное существа — вдруг начинает А<лександр> П<авлович>. — Непосредственное, живое, искреннее…

Почему мне так неприятно слушать это? Я очень люблю Раечку, но…

— Несмотря на ее манеры, она мне нравится… — продолжает Александр) П<авлович>.

— Раечка Оболенская совсем не прекрасное существо! — вдруг заявляю я.

— Тебя не спрашивают! — говорит папа.

— Маме она не нравится, и мне она тоже не нравится.

— Муся! — мама поражена. Алекс<андр> Павлович улыбается и переглядывается с мамой.

— Когда я кончу курс, я женюсь на Раечке и увезу ее в Екатеринбург.

— А я поеду за вами.

— А мы поедем рано утром, когда ты будешь спать…

— А я не буду спать!

— Я увезу ее к себе на Урал! — Алекс<андр> Павлович радостно хохочет, и желтая бородка его трясется, а глаза делаются, как щелки.

— Я отравлю ее! — тут я бросаю вилку и открываю рот вовсю.

— А тебя сошлют в Сибирь!

— А я убегу, я убью, я ее, я вас, я, я…

Начинается ужасный крик. Папа сердится на маму, — «это все книги!» — мама на Альфонсинку, Лёра на А<лександра> П<авловича>, — зачем меня дразнит, Андрюша страшно доволен и потихоньку дергает Асю за ногу, Ася сует под стол противные бобы…

Я вылетаю из-за стола и бегу наверх. На постели я плачу, уткнувшись лицом в подушку. Стучат. Пусть стучат! Дверь на крючке. Еще раз…

— Мусенька, я мириться пришел, отопри мне! «Это Лёра его подослала», — соображаю я, все еще плача, и не открываю. Вскоре пришла Альфонсинка и начала меня утешать.

— Это потому, что ты еще маленькая! — говорила она по-франц<узски>. — Будешь большая, все переменится. Не надо обращать внимание на молодых людей, надо быть холодной ко всем.

— Да, но Татьяна вовсе не была холодной ко всем, она тоже первая написала, — возражала я. Но Альфонсинка не знала Татьяны.

Утешившись немного, я принялась за новое письмо, на этот раз уже не перевод. Тут были и угрозы, и просьбы, и упреки, но больше всего восклицательных знаков. Ася, в обмен на оловянную птичку, согласилась передать и это письмо.

После ужина, прошедшего очень тихо, я получила его обратно с подчеркнутыми красным карандашом ошибками.

Было над чем задуматься. Зачем подчеркивать ошибки? Ведь это же не диктант. Разве Онегин подчеркивал ошибки в Татьянином письме? Разве Онегин был влюблен в Раечку? Разве он хотел ее увезти на Урал? Разве он учился в университете? Разве у него была желтая бородка? Разве…

Да разве я-то похожа на Татьяну?

Когда Альфонсинка вечером подошла к моей постели, я

сказала, что больше не люблю Алекс<андра> Павловича.

— Конечно, не стоит! — сказала она, — я совсем не понимала, что тебе в нем нравится. Такой худой и к тому же… rйрйtiteur.[53] Я бы на твоем месте взяла кого-нибудь из знакомых твоего отца. Но у тебя много времени впереди, ведь тебе только семь лет…

— Я совсем никого не возьму! — твердо ответила я.

<1911—1912?>

ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА

Вере Муромцевой,
одних со мной корней

I. ДЕДУШКА ИЛОВАЙСКИЙ

Не собирательный дедушка, как «дедушка Крылов» или «дедушка Андерсен», а самый достоверный, только не родной, а сводный.

«Мама, почему у Андрюши два дедушки, а у нас только один?» Помню вопрос, ответа не помню, да его, наверное, и не было, ибо не могла же мать ответить правду, а именно: «Потому что мой отец, ваш дедушка, Александр Данилович Мейн, как человек великодушный и справедливый, не может не любить, по крайней мере, не одаривать и не ласкать, чужого внука наравне с родными внучками, а Андрюшин дедушка, как человек черствый и очень уж старый, насилу и единственного своего внука может любить». Так и оказалось у Андрюши «два дедушки», а у нас с Асей — один.

Наш дедушка лучше. Наш привозит бананы — и всем. Дедушка Иловайский — только золотые — и только Андрюше — прямо в руку — даже как-то мимо руки — ничего не говоря и даже не глядя — и только в день рождения или на Рождество. Мама эти золотые у Андрюши сразу отбирает. «Августа Ивановна, вымойте Андрюше руки!» — «Но монет софсем нофенький!» — «Нет чистых денег». (Так это у нас, детей, и осталось: деньги — грязь.) Так что дедушкин подарок Андрюше не только не радость, а даже гадость: лишний раз мыть руки и без того уже замывшей немкой. Золотой же проваливается в отдельную «иловайскую» копилку, и никто о нем не вспоминает до очередного золотого. (В один прекрасный день вся копилка со всеми, за десять лет, иловайскими золотыми исчезла, и если кто-нибудь о ней жалел — то не Андрюша. Золото для нас сызмалу было не только грязь, но пустой звук.)

Наш дедушка заезжает за нами на своих лошадях и увозит в Петровское-Разумовское, Андрюшин дедушка никого не увозит, потому что сам никогда не ездит, а всегда ходит пешком. Оттого он и дожил до такой старости, говорят старшие. Наш дедушка привозит нам из-за границы заводные игрушки, например, Андрюше в последний раз из Карлсбада игрушечного мальчика, который лезет по стене. При дедушке же Иловайском и сам живой мальчик Андрюша пошевельнуться не может, точно сразу сломался завод. После каждого его посещения наш старый трехпрудный дом всеми своими ходами и переходами шипит и

шепчет: «Мильонщик» (няня) — «Milliondr» (балтийка-бонна), вместе же: «Шушушу — Androuscha — Андрюшечка — reicher Erbe[54] — наследник…» Эти слова для нас, семилетнего, четырехлетней и двухлетней, не имеют никакого смысла и остаются чистой магией, как сам дедушка Иловайский на венском стуле, посреди залы, чаще даже не сняв своей большой, до полу, шубы — холод трехпрудного низа он знал, ибо это был его дом, им данный в приданое дочери Варваре Димитриевне, когда выходила замуж за моего отца. Дальше залы дедушка Иловайский никогда не шел и на круглом зеленом зальном диване никогда не сидел, всегда на голом стуле посреди голого паркета, точно на острове. Тыча в воздух на подошедшую и приседающую девочку: «Это кто же — Марина или Ася?» — «Ася». — «А-а-а». Ни одобрения, ни удивления, ни даже осознания. Ничего. Но зато и мы от него ничего не чувствовали — даже страха. Мы знали, что он нас не видит. Двухлетняя, четырехлетняя и семилетний знали, что нас для него нет. И рассматривали его совершенно так же свободно и спокойно, как памятник Пушкина на Тверском бульваре. Единственное его на нас действие, — как, впрочем, всякого памятника — в комнате, был некий постепенный безболезненный, глубокий столбняк, отпускавший нас только со скрипом парадного. Если бы дедушка Иловайский никогда не ушел — мы бы никогда не двинулись.

Весной на сцену нашего зеленого тополиного трехпрудного двора выкатывались кованые иловайские сундуки, приданое умершей Андрюшиной матери, красавицы Варвары Димитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца.

Красный туфелек (так мы говорили в детстве), с каблуком высотой в длину ступни («Ну уж и ножки их были крошки!» — ахает горничная Маша), — скат черного кружева — белая шаль, бахромой метущая землю — красный коралловый гребень. Таких вещей мы у нашей матери, Марии Александровны Мейн, не видали никогда. Еще кораллы: в семь рядов ожерелье. (Мать — двухлетней Асе: «Скажи, Ася, коралловое ожерелье!») Хорошо бы потрогать руками. Но трогать — нельзя. А эти красные груши — в уши. А это, с красным огнем и даже вином внутри — гранаты. («Скажи, Ася, гранатовый браслет». — «Бра-слет».) А вот брошка коралловая — роза. Кораллы — Neapel, гранаты — Bohemen. Гранаты — едят. А это — странное слово — блонды. От какой-то прабабки — мамбки — румынки. Никакого смысла, чистейшая магия. («Говорят, актрисы были, на театре пели… — шепчет Маша нашей балтийке-бонне. — Говорят, наш барин очень без

них тосковали». — «Думхейтен,[55] — басом отрезает балтийка, блюдущая честь дома, — просто богатая дочь богатый отец. А пела, как птиц, для свое удовольствие».) Жаркий, жгучего бархата, костюм мальчика. Мальчик, которого так одевают, называется паж. (И черный шнурок с змеиной головой, которым подбирают юбку, — паж.) А этот длинный нож называется шпага. Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики… То, как все это пахнет, — пачули. Андрюша, убедившийся, что второго ножа не будет, носится вокруг на «штекенпферде».[56] Я, робко, матери: «Мама, как… красиво!» — «Не нахожу. А беречь нужно, потому что это Лёрино приданое». — «А какой снег серебряный!» — «Это нафталин. Чтобы не съела моль». Нафталин, моль, приданое, пачули — никакого смысла, чистейшая магия.

Позже на нашем зеленом тополином дворе появился остов велосипеда. Говорю — остов, потому что, подрастя, сразу опознала его в первом же из тех животных, непомерно высоких, с непомерно высокими шеями и далекими от земли ногами, существующих только в виде остова, да и то на картинках (как и такие велосипеды). «Доисторический велосипед историка!» — хохочет и даже грохочет свободомыслящий студент Гуляев, готовящий Андрюшу в приготовительный класс Седьмой гимназии, а сестру Лёру, под шумок, себе в невесты. Это была первая модель велосипеда, подаренная, вернее оставленная (проще — отставленная!) нещедрым делом доросшему до науки внуку. Себе же дедушка купил новый. Самое трудное и даже несбыточное для девятилетнего мальчика было на этот велосипед — сесть. Второе — на нем поехать: нога на аршин не доставала до педали. Единственное доступное было на нем сидеть, ибо скелет был трехколесный, непреложноустойчивый и усидчивый. Велосипед с Андрюшей возил по двору дворник Матвей. Нас с Асей на заветное иловайское сидение не пускали никогда. Но мы и не мечтали. Все иловайское в нашем доме, от бирюлек институтки Валерии до Андрюшиного ихтиозавра, для нас, только — Цветаевых, было табу. Это был дом молчаливых запретов и заветов.

Позже в нашем доме появилось такое же ружье. И такая же подзорная труба. Можно сказать, что дед из своих вещей вырастал, как ребенок из обуви, только в обратной пропорции: большее сменяя на меньшее. Впрочем — велосипед, ружье, труба оказались его единственным наследством внуку. Остальное (миллионы — в кавычках или без кавычек) унаследовала Революция.

Иловайский жил на Малой Димитровке, в переулке у Старого Пимена. В доме Иловайских мы с Асей никогда не были, только о нем слышали. Отец — матери: «Ты уже целый месяц не была, пятая пятница, пойми же: обида! — пересиль себя, голубка, — нужно…» — «Значит, опять засесть в угловой и целый вечер проиграть в винт!» А в винт играют — так: стоит посреди комнаты стол на винту, вокруг сидят гости и вертят, кто перевертел — выиграл. Это еще называется «вертеть столы», и этим-то и занимаются институтка Лёра с молодыми Иловайскими, запершись от нас на ключ. Скучная игра и даже страшная, потому что, по словам матери, до полуночи ни с места встать, ни перестать нельзя: в дверях угловой дедушка Иловайский, который не пускает. Позже, когда я поняла, что винт — карты, помню такое слово матери: «Wenn die Menschen keine Gedanken zum Austausch haben, tauschen sie Karten aus»,[57] а еще позже узнала эти слова у Шопенгауэра. «Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо…» — вздыхал отец, сам глубоко равнодушный ко всякому столу, кроме письменного.

Андрюша у Иловайских бывать не любит. Сверстников у него там нет, и он сразу попадает в когти второй жены дедушки, Александры Александровны, которую так и зовет по имени-отчеству. А. А. (рожденная Коврайская) на тридцать лет моложе деда и, как взрослые говорят, до сих пор красавица, а по-нашему — наоборот, потому что лицо у нее злое, нос с какими-то защипнутыми ноздрями и такой же, сквозь защипнутые ноздри, голос. А «родинки» — родинки просто пятна, точно шоколад ела и над губой не вытерла. Ходит она всегда в «курицыном», то есть в черную с белым, коричневую с белым, серую с белым, мелкую клеточку, от которой, если долго смотреть, в глазах рябит, а смотреть приходится долго, тупя глаза под ее — обратным его голубому невидящему — всевидящим черным глазом в ее же рябой подол. Вся стянутая, подтянутая, как взрослые говорят: «tirйe a quatre йpingles»,[58] и все время «пускает шпильки», которые, в соединении с «quatre йpingles», превращают ее для нас в какую-то подушку для иголок.

Но дети у А. А. — чудные. Их трое: кареокая Надя, черноокий Сережа и очень хорошенькая, толстая Оля с глазами, которые у нас в доме зовутся «незабудки».

Димитрий Иванович Иловайский был женат два раза. Первая жена и все трое детей от первого брака умерли. Помню в

семейном альбоме чудесные лица этих мальчиков. (Красота в этой семье цвела!) Последней из первой семьи умерла уже упомянутая красавица В. Д. Но смерть не остановилась. В 1904 году и красавица Надя и красавец Сережа (двадцать два года, двадцать лет) один за другим протянулись на столе у Старого Пимена. Последняя же дочь, Оля, для Иловайского — хуже, чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась.

1906 год. Мы с Асей, после долгой заграницы, потеряв мать, отвыкшие и выросшие, вернулись в наш трехпрудный дом. Большая зала, в которой за наше отсутствие прибавился только цветной поясной портрет Андрюшиной матери (портрет — роковой в жизни нашей), посреди залы венский стул, на голом стуле, под карим прекрасным взглядом покойницы, в волнах своей черной шубы, посреди голого пола, как посреди голого поля, дедушка Иловайский. Вытянутый перст, оловянный невидящий взгляд: «Это которая же: Ася, или?..» — «Марина». — «А-а-а…» И не узнавал он нас не потому, что он нас столько-то лет не видел, а потому, что он нас вообще никогда ни разу не увидел, то есть лица с именем не связал, а не связал потому, что ему было все равно. Вопрос же об имени (которая — кто) был чистейшей функцией историка: mettre les noms sur les figures[59] — тут же забываемые — по неисторичности. До «исторических же дат», то есть наших с Асей возрастов, у Иловайского никогда не дошло. Пять лет, пятнадцать ли лет стоящей перед ним Марине — какое ему дело, когда она не Мнишек, а самому восемьдесят с лишком — зим!

— Странный у деда дом, — рассказывает брат Андрей, живший все эти годы у Иловайских, — топят снизу и всегда ночью, босиком — ступить невозможно, танцуешь, как в аду! А сам дед спит на чердаке, в самый мороз с открытой форткой, — и Надю с Сережей заставлял, может быть, оттого они и умерли. И ничего не ест, за целый день три чернослива и две миски толокна. И всю ночь не спит — и ей не дает — либо пишет, либо ходит, как раз над моей головой — все взад и вперед, взад и вперед. Перестал — значит, пишет. Я в гимназию — он спать, прихожу завтракать — уж опять пишет. И чего это он все пишет? Доведу, говорит, до последних дней. До каких это последних, когда сегодня, например, уж, кажется, последний? а завтра — опять последний!… Так ведь никогда-не-кончить можно… А — здоров!!! До сих пор верхом ездит, а как в рог трубит — уши лопаются! Сам не спит, а других укладывает. Пока еще Надя с

Сережей живы были, придет молодежь, гадают или играют во что-нибудь — ровно в десять часов, в самый бой, на пороге — дед в халате. Подойдет и дунет на свечу, потом на другую, так на все подряд, пока не останется одна. Эту — оставит. И уйдет, ни слова не сказав. Значит, гостям домой пора. Ну, а гости пошумят, пошумят в передней калошами, чтоб знал, что ушли, а когда уйдет к себе на чердак — опять возвращаются, и уж тогда пир горой, только потихонечку…

Один вопрос нам с Асей, впрочем, прибавился, даже целых два. «В гимназии учишься?» — «Да». — «По какому учебнику?» — «По Виноградову». (Вариант: Випперу.) Недовольное: «Гмм…» Но Иловайский мне на экзаменах послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его учебник, я попала глазами на следующее, внизу страницы, булавочным шрифтом, примечание: «Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз». Глаз — понравился. Потерянный, а — остался! Утверждаю, что этот глаз — художественен! Ибо что же все художество, как не нахожденье потерянных вещей, не увековечение — утрат?

Стала читать дальше, — и раньше, и после, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре убедилась, что всё, что он пишет — вижу, что у него всё — глаз, тогда как неизбывная «борьба классов» наших Потоцких, Алферовских и т. д. либеральных гимназий — совсем без глаз, без лиц, только кучи народа — и все дерутся. Что тут живые лица, живые цари и царицы — и не только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!.. «Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?» — «По Иловайскому». Либеральный педагог, ушам не веря: «Как? Но ведь его учебники совершенно устарели! (Пауза, наполненная всяческими размышлениями). Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены. И, несмотря на некоторую односторонность освещения, я вам ставлю…» — «Пять», — мысленно подсказываю я. Эту шутку я повторяла в каждой гимназии, куда поступала, а поступала я постоянно. Так, столь ненавистный стольким школьным поколениям «Иловайский» — источник не одной моей, школьницы либеральных времен, пятерки.

Вторым вопросом нам с Асей Иловайского было: «Мой „Кремль“ читала?» — «Да». — «А чту я в нем пишу?» — «Про евреев». — «А чту я в нем пишу про жидов?» — «Вы их не любите». (Призрак усмешки и, с непередаваемым наполнением:) «Не любите!..» Родного внука, впрочем, опрашивал подробнее — и коварнее. «И то ему скажи, и то! Настоящий допрос! Не я же

писал, наконец! Наизусть, что ль, ему учить? — жаловался Андрей. — Я ему: немцы, он мне: ливонцы. А по мне — хоть чухонцы! Вчера целый час не отпускал!»

Ежемесячная газета «Кремль» с единственным редактором, сотрудником, подписчиком и разносчиком — Иловайским. (Родных и знакомых обносил сам.) Цензора, впрочем, он над собою почувствовал, ибо в 1905 году, после трех предупреждений, «Кремль» — закрыли за открытую и сердитую критику историком Иловайским исторического жеста последнего на Руси царя в октябре 1905 года. Помню, в молодом дневнике матери (около 1895 г.) такую запись: «Была на докладе Д. И. о призвании на царство Михаила Романова, в присутствии высочайших особ. По Иловайскому выходило, что Михаил Романов был избран на царство за ничтожество. Смело, но в присутствии родных — неловко». Бесстрашие свое и глубочайшее несчитание со всем, что раз навсегда не предстало ему правдой и долгом, он доказал в эпоху более ответственную, чем 1905 год. «И истину царям с улыбкой говорить». Улыбки на лице Иловайского я не видела никогда. Сомневаюсь, чтобы видели и цари. Но правду — слышали. «Кремль», конечно, потом опять разрешили, и Д. И. продолжал наводнять им дома своих оброчных. Единственное, что у меня осталось от единственного моего посещения дома Иловайских — это стопы «Кремля» в глубоких нишах окон, стопы, доходившие до оконного креста и не аллегорически, а физически застилавшие жителям и посетителям божий свет и мир. Комнату эту, полуподвальную, с годуновскими сводами, прошу запомнить.

Это был красавец-старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямей ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого — ледяные большие проницательные глаза, только на живое глядевшие оловянно.

Закрываю свои — и вижу: наша маленькая трехпрудная передняя, в дверях парадного старик в огромной шубе, перед ним оробевшая, за десять лет не могущая привыкнуть горничная. «Машей тебя зовут? Так доложи своему барину, что приходил барин от Старого Пимена. „Кремль“ принес».

II. ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА

Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. Все в этом доме кончалось, кроме Иловайского. Жестоковыйный старик решил жить. «Заживает чужой век… Всех детей зарыл, а сам… Двадцатилетний сын в земле, а семидесятилетний по земле ходит…» Под этот шепот и даже ропот — жил.

Много позже прочтя Фарреровских «Hommes vivants»,[60] я (прости меня Бог, ибо это — грех) не вспомнила, а глазами увидела Д. И. Книга, в ее страшности, груба. Столетние старики в какой-то каменной пустыне подстерегают и зазывают молодых путников и выкачивают из них кровь, которой живут. Ничьей крови Д. И. не пил, нет, он по-своему детей даже любил, но соответствие все же уцелевает: от такого долголетия, самого по себе редкого, а при стольких молодых родных смертях — чудовищного. Первая жена, двое мальчиков, дочь; сын и дочь от второго брака… Это был какой-то мор на молодость. Мор, щадивший только его.

Иловайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковыйным, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда. Казалось бы — сколько предостережений! Если не сбавишь спеси, не сдашь власти, то есть прежде всего не сдашься перед очевидностью, — и те умрут. Все умрут. Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. Истории в своем доме и жизни историк не ощутил. (А может быть, и не истории, а Рока, открытого только поэту?) Очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов. Смерть же — несчастье, от Бога посланное. Ни одной секунды старик не ощутил себя виновным. Да — был ли?

Над этими детьми был рок ранней смерти. Не улыбайтесь, он есть. И Иловайский, как в мифе, может быть, был только орудием. (Хронос должен пожирать своих детей.) Вина есть, когда есть ее осознание. Когда ее осознания нет, она не вина, хотя может быть и смертоносна. Иловайский же жил — в Иловайском жило непоправимое сознание правоты. Как судить непогрешимость?

И, может быть, то, что всем казалось волей жить, была неволя над ним рока, рок, обратный детскому, был рок над ним долгой жизни, как над теми — ранней смерти: долголетия, ставшего проклятием? (Сивилла, не могущая умереть.)

И так как всё — миф, так как не-мифа — нет, вне-мифа — нет, из-мифа — так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял — всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье через Лету одного за другим — всех своих смертных детей.

Вот те первые мальчики из окон семейного альбома и старшие бы меня на сорок лет, с молодой их матерью посредине. Оба на одно лицо: отца, большелобые, голубоглазые, прямолицые, до последней минуты через материнские колена плещущие друг в друга недвижной водою Леты…

Вот В. Д., любимая жена нелюбимого, — другого любившая, выпевавшая свою беду под солнцем Неаполя и умершая после рождения первого сына — на полуслове, с букетом в руках, парадная, нарядная, — сгусток крови шел и шел и дошел до сердца, В. Д., залитая кораллами, с не остывшим еще румянцем Юга и первой радости. Вот она, концом кораллового ожерелья машет оставляемому сыну…

И — туман над Летой редеет — не альбом! не портрет! — Надя, живая, — каштановая и розовая, вся какая-то жгуче-бархатная, как персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!) пелерине, которую двуединым жестом озноба то распахивает, то смыкает, — о нет, не в саване! Миф савана не знает, все живые, живыми входят в смерть, кто — с веткой, кто — с книжкой, кто о игрушкой…

(Всё в этой ладье сменяется, кроме лодочника.)

Вот Сережа, живой отблеск отживших поколений (о, как ты ничего не понял, историк!), изящный, тонкий, с маленькими бачками на совершенно детском лице, светлу-черноглазый, не розовый, — ярко-бледный, — живой 1812 год! — с гравюры — из семейной хроники — точно выросший в свой (увы, студенческий!) мундир. (И вот таинственное слово из глубочайших недр моего младенчества встает: Сережа Бор-Раменский…) Сережа Бор-Раменский, Рауль Добри из романа для девиц Zïnaide Fleurnot… А в общем, вечное видение юноши: Ганимед, восхищенный

Завесом, Гераклов Гилл, похищенный нимфой… Но эта река — Лета, река без нимфы, река без звука, Лета, которой ничего не нужно, даже его чудных глаз.

Дорогие Сережа и Надя, вижу вас весной 1903 года в блаженном месте: генуэзском Нерви. Сережу — в тени комнаты и матери, Надю — на полном свету, только пересекаемом материнской тенью. Мать Сережу хранит, Надю — стережет. Вот они обе в ландо на bataille de fleurs.[61] Все цветы — ей, бумажные, с песком (а может, и свинцом) горошины — матери. Разойдется итальянец и запустит: в красотку — розой, в дракона — дрянью. (Как это А. А., сама красотка, в сорок лет без единого седого волоса, ухитрялась быть драконом?) Надя смеется, мать виду не подает, но после первого же рейса вдоль «марины», велит кучеру повернуть обратно и невозвратно. С цветочного боя — в ту самую одну комнату, где сравнительно здоровая сестра с серьезно-больным уже братом живут вместе и будят друг друга кашлем. В Надю влюблен студент Фан дер Фласс, не голландец, а киевлянин, тоже больной, тоже красивый, которого мы с Асей зовем «монастырский кот», потому что толст и как-то особенно чист и живет в отдельном, вроде бы келья, домике. Мы с Асей носим от него Наде записки, а бывает, и от нее. Нас она тогда горячо, много раз подряд целует в голову, прижимая к жаркой груди. Влюбленным покровительствует моя мать, тоже молодая, тоже больная, часами занимая непереносимую ей А. А. хозяйственными, непереносимыми ей самой, разговорами: наблюдениями, соображениями, иногда — измышлениями: как, например, солить репу… (Потом нам: «Пускай посолит! Сама же и будет есть!») — и увлекая бдительного стража до полного забвения сроков. Но в один блаженный день блаженство кончается. А. А., не дождавшись конца лечения, под предлогом дороговизны жизни (двое в одной комнате, пансион по пять франков, миллионы…), на самом же деле — из-за успехов Нади (неблагонадежного состава этих «успехов») увозит детей из морского Нерви в сырое Иловайское «Спасское». Надя плачет, Фан дер Фласс, и не он один, плачет (особенно плакал один, с большой рыжей бородой, и даже не из нашего пансиона, на которого Надя даже ни разу и не взглянула), наша мать плачет, мы с Асей плачем, благонравный Сережа из почтения к матери не плачет, он неустанно, из экипажа, оглядывается, казалось тогда — на Нерви, оказалось — на жизнь.

———

Мать. Мать она была сыну, не дочерям. Да простит мне ее тень и да увидит, что я прежде всего и после всего — не сужу. Есть такая украинская сказка о матери родной и матери крестной. Идет девушка ночью мимо храма, видит — свет, заходит. Служба тихая, священник чужой, молящиеся — чудные: они давно не виданные, другие и вовсе никогда. Вдруг кто-то ее за плечо. Оборачивается: крестная мать покойная. «Беги отсюда, девонька, а то здесь твоя мать родная, увидит — разорвет». Но поздно: мать — увидела, вон, сквозь народ, пробирается. Девушка — бежать, мать за нею, так и мчатся они по пустым полям (дочь-то по земле, а мать-то за ней — по-над землею). Но рядом крестная, не дает в обиду, на бегу засыпает ту, родную, крестами, открещивается. Наконец — конец. Край деревни, первая хата. Петухи поют. И крестная, прощаясь: «Никогда, девонька, больше не заходи ночью в церковь, как увидишь свет. Это неупокоенные души молятся с неупокоенным попом. Не будь меня — заела бы тебя твоя мать родная, с самой своей смертушки на тебя зубы точит».

Когда я эту сказку, как всегда в таких случаях, для выяснения самой себе, стала рассказывать и потом опрашивать, — в чем дело? почему? — только один из моих собеседников: собеседница, категорически: «Совершенно понятно. Ревность. Ведь дочь-соперница». Посмертная ревность к молодости, несчастной к счастливой, мертвой — к живой. И, возвращаясь к А. А.: неупокоенные страсти мертвой, никогда не жившей. Ибо А. А. никогда не жила. Выйдя молодой красавицей за старого Иловайского, она вышла за деньги и за имя. Получила же ключи на пояс и на себе — крест. Ревновал он ее, по домашним рассказам, люто. Жестоковыйный старик любил красоту. Никуда без себя не отпускал, только раз, с каким-то своим присным, на бал, которым потом ее всю жизнь попрекал. Зря. Была горда и верна. (До измены, как до собственной красоты, просто не снисходила. Так и вижу ее, стоящую с видом, точно попирающим собственную красоту.) Пошли дети. Дети, сразу отделенные от нее традиционной стеной кормилиц, нянек, бонн, гувернанток, учителей. Не говоря уже о водоразделе родительского верха и детского низа. Дети, действительно, жили под родителями, как под спудом: то, по чему родители, со всеми их тяжестями, всей своей тяжестью, ступали, было для детей — верхом, то есть попросту лежало у них на головах. Вроде Атлантов, держащих небосвод с небожителями. (Недаром их «низ» был со сводами!) На том и надорвались. И, возвращаясь к воспитанию: как тут было до своего ребенка — добраться? Сквозь всю эту подобострастную и стойкую толщу — продраться? Для этого нужно — очень любить.

А можно ли, я только ставлю вопрос, а неизбежно ли, а так ли уж непреложно — любить ребенка от нелюбимого, может быть — невыносимого? Анна Каренина смогла, но то был сын, сын — в нее, сын — ее, само-сын, сын ее души. Таким сыном для А. А. оказался последний ребенок — Сережа, дитя ее души и тела, она живая — если бы ее с самого начала не убили.

Нет физического сходства без душевного. И если Сережа, весь кротость, робость, нежность, с первого взгляда казался душевно-обратным матери, то потому, что сравнивали его с нею — нынешней, а не с нею — тогдашней, его однолеткой. И не высшее ли смирение она проявила тогда, выйдя замуж за нелюбимого, раз навсегда смирясь: сломясь, точно так же, как ее сын без всякой мысли ропота связал бы себя с той, которую бы движением брови указала — она. Только в Сереже, еще не тронутом жизнью — мы видим упокоение покорности, в ней — ожесточение покорности.

Меж тем жизнь, понемножечку, красотку перековывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь жить тут. Так. Приживаешься к камере. То, что при входе казалось безумием и беззаконием, становится мерой вещей. Тюремщик же, видя покорность, размягчается, немножко сдает, и начинается чудовищный союз, но настоящий союз узника с тюремщиком, нелюбящей с нелюбимым, лепка — ее по его образу и подобию. Но какой же может быть здесь «образ и подобие»? Между стариком-ученым и нелюбящей красавицей? Что могла А. А. от Д. И. «перенять»? Историю, дело его жизни? Нет, историю он писал сам. Идеи? Они ей, как всякой настоящей женщине, были безразличны (не были бы, ежели бы, но так как этого «ежели» не было…). И, чтобы не спрашивать праздно — она могла перенять от него только методы. Его методы скопидомства, домоводства, детоводства, однодумства и т. д. Методы, сразу выродившиеся у нее в привычки и даже мании, ибо одно — в стране, другое — в доме, одно — в книге, другое — в жизни. Вся нетерпимость Иловайского к инородцам, перенесенная на одну немку-экономку, вся теория государственного накопления — в пределы собственной кладовой, весь идейный Домострой, перенесенный на живых детей. Нечего говорить: Иловайский в доме был тираном, но тираном идейным, то есть не мелочным. Раз навсегда, en bloc.[62] И больше олимпийцем, чем тираном: он до детей просто не снисходил. А. А. же, из дома не выходя, во всё входила, в каждый их шаг и жест, и именно потому — что всё и чисто внешне, в них самих никогда не вошла. Разница между

Папой, санкционирующим, и рядовым боевым членом братства Иисуса. Словом, в доме А. А. была его правой рукой, а правая рука всегда пуще головы. «Молодые девушки должны ездить на балы», — Иловайский. «Да, но по возвращении вешать платья на „плечики“», — А. А. (Сильно говоря, она, конечно, была огорчительницей колодца их молодости.) «Молодые девушки должны танцевать с теми, кто нравится их родителям», — Д. И. «То есть не танцевать с теми, кто им нравится», — А. А. Упор с долженствующего переносился на возбраняемое. Физический запрет становился духовным.

Почему? Почему и откуда запреты? А потому, что ей самой, так еще недавно, запретили жить, сама себе сгоряча (пусть с холоду расчета, но все же сгоряча воображения!) запретила, потому что сама себя заживо зарыла в доме у Старого Пимена. Дочери, особенно одна, растут красавицы. «Я тоже была красавица». Дочери растут веселые. «И я смеялась».

И вот, подсознательное (подчеркиваю это трижды) вымещение на дочерях собственной загубленной жизни. Если, в упрощающем мифе родни и дворни, Д. И. детский век «заживал», А. А. его — «заедала». Не заедала, нет. Она не питалась их соками, ибо тогда эти соки ей шли бы впрок, чего не было, — она их жесткой рукой зажимала, не давала им ходу, чтобы ее женские отпрыски тоже не были счастливые. Иное старение кормится возле молодости дочерней, это же ложилось на них могильным камнем. Я задохнулась — и ты не дыши.

Чудовищно? А такой брак — не чудовищно? Сама виновата! А разве эта сама — знала? Знала, что такое вообще брак? Это нынешние знают. Те, пятьдесят лет назад, летели в этот ад, как бабочки на свет, — всей грудью. Оступались в него, как в ров. И — как знать? Может быть, еще и родительская власть, угрозы и уговоры ее матери? Ожесточенное бедой сердце — вот. Но как же вымещать на невинных? А разве она знала, что — вымещает? Это знающая природа в ней вымещала, мстила за попранную себя. Она, в полной невинности — воспитывала. (Показательно и подтвердительно, что недуг, от которого из троих ее детей погибло двое, был ее недугом, даром, наследством. Впрочем, и у Д. И. был в юности туберкулез, но — когда была эта юность? и была ли когда? И вот уже начало нового мифа о родителях, откупившихся от смерти детьми…)

Девочек не мучили. О, им многое разрешали. У них были

наряды, подруги, братья подруг, у них были билеты на парад и ложи в балет, и, главное — у них были «живые картины»… Сказав это слово, я дала эпоху. Это был рассвет девятисотых годов, недалекий канун Пятого. Шел пока еще ручьёвый шум студенческих беспорядков. Слово «педель» — одно из первых, которое я в младенчестве осознала, от созвучия с «пудель». И вот, от сходок, вопросов, запросов, страшных людей, идей — щит: живые картины. Колеблющийся щит: целая стена старинного штофа. А за ним…

Недвижная группа из живых людей, окрашенная бенгальским — зеленым и малиновым — пламенем. Группа не дышит, улыбки застыли, пламя трепещет, догорает… Занавес! Рукоплескания. Красавица Надя, весна для каждого встречного, застывшая аллегорией Весны, с бенгальским румянцем на персиковом. Живая красавица, застывающая красавицей спящей. Красота, спящая под очкастыми — подслеповатыми — дальнозоркими — слезящимися — и Бог знает еще какими! — взглядами старцев, старцев — Елены, старцев — Сусанны, семидесятилетних сверстников ее отца… (Могла бы назвать имена, иные — исторические, но зачем? Все это ушло в миф…)

Но что тут делали бородатые студенты и доценты? (Из всей группы безусым был только Сережа, неизменная пара всех Надиных превращений: Май всех ее Весен, Царевич — Красавиц.) Пенсне можно снять, но бороду? А ведь и они участвовали в «Веснах» и «Помпадурах». Бородатые — маркизы? И этот contresens[63] в доме у историка? Как ни грустно, не могу не улыбнуться. И десятилетия спустя не могу не содрогнуться от такого сгущения жути: «живые картины» — в мертвом доме, мертвые картины из живых людей.

Были живые картины, были выезды, — поднадзорное танцевание, напоминающее мне уныние первых Ассамблей. Но девочки отыгрывались. Жизнь всегда отыграется. Чайный стол молодежи понемножку обрастал кругом молодых вольнодумцев (позже — всего только правых кадетов!). Свечи старого дома даже под надежными щитами своими содрогались от первого дуновения «идей». Каких? Еврей тоже человек. И самые храбрые: «Раз сам Христос был еврей…» Звучало еще робкое, но и в робости своей грозное, ничем, кроме собственного звучания, не заполненное слово «свобода». Какая? Вся. От чего? От всего. И, конечно, прежде всего — от дома. Нет, нет, не от родителей. Родители еще были неприкосновенны, неподсудны, да и они ли

гнели? Нет, не Д. И. же со своими декретами раннего спанья и такого же вставанья, не А. А. со своими нотациями и интонациями — родители сами были гнетомые — гнел дом, сам дом, со всеми в нем прежде жившими и жившими тбк, как нынче жить уже нельзя (а было ли когда-нибудь можно?). Гнел дом толстыми, как в бастионе, стенами, гнел глубокими нишами окон, точно пригнанными по мерке привидений, гнел дверями, не закрытыми, не открытыми — приоткрытыми, гнел потолками, по которым неустанно, по ночам, кто-то взад и вперед, взад и вперед, гнел подсматривающим, вплотную прильнувшим садом. О, больше всего садом, его мнимой свободой, на самом же деле всем дозором бессонного древесного сырья, так явно держащего руку — бывшего, садом с его сыростью, садом с его старостью, с калиткой, не ведущей никуда. И больше всего слово гнело: Пимен. Кто был Пимен? Что за святой? Почему не сохранил? Почему из троих выпустил не на кладбище только одного, одну? Иловайская девическая «свобода» была только свобода от этого страшного святого, точно забивавшего их клюкой в гроб. Свобода от сторожа, сторожившего дом, сторожививший их. (О, Пимену дело только до дома, сохранить дом во всем объеме, со всем, что в нем, будь то комод, гроб, сын.) «Вырваться от Старого Пимена!» Сами не знали, что говорили. (Однажды, после такого взрыва, Надя: «Впрочем, мы с Сережей в нем долго жить не будем. Дом останется Оле». И Оля, как бы обидевшись на такой распорядок (подарок!), — запальчиво: «Тогда я его взорву!» Но Россия со всеми Старыми Пименами взорвалась раньше.

Гнет родителей — был, но гнет — исполнительный: подневольный. (Не забудем, что и над Зевесом — рок.) Гнет был не от их присутствия, а от всеприсутствия, всюдусущия: в самом воздухе дома и нб тридцать верст вокруг (нб тридцать лет вперед!).

«И настигнет мя десница твоя» — это вовсе не значило, что А. А. над дочерьми сидела и пилила (дочери для нее были только частью домоводства, такою же, как сундуки), что Д. И. в неурочные часы заходил и ловил. Гнет был в том, что неурочных часов не было, не могло быть, что сам этот дом был затянувшийся «урок истории», что слишком легко было физически из-под гнета выйти: обойти. Это был, если довести вещь до ее истинных размеров — искус доверием. Нет, не то слово: родители и предположить не могли, чтобы их можно было обмануть. Слепость их веры (в непреложность своей правды и власти) и составляла затвор. Замков не было. Впрочем, давно известно, что

вера — привязь пущая всех цепей. Если нельзя обмануть доверяющего, то как же можно — не сомневающегося, не усумнившегося никогда? Дочери, как и мать, были честны и горды. Дом у Старого Пимена при всей его тяжести был исполнен благородства. Ничего мелкого в нем не было. («У нас было тяжело, у нас не было так мелко» — слово Оли И. о семье, в которую из Старого Пимена вышагнула.) Это не была бытовая трагикомедия приказов и обманов, придирок и уловок, как все бытовое кончающееся благополучно. Дом У Старого Пимена благополучно кончиться не мог. Потому он так надо мной и властен, что он был не менее чистокровно-трагичен, чем дом Приама. Что над ним был — Рок. Рок, сказавшийся в самой физической заочности родительского гнета, в их физическом олимпийстве: наверху, на свету, откуда вниз, в полуподвальные садовые туманы, шли невидимые декреты — токи. (Единственный дом, кстати, на моей российской памяти, где бы родители жили наверху, а дети внизу). И в Трехпрудном, и во всех ему подобных детским был тесный, низкий, но жаркий и светлый верх, родительским — парадный, просторный, но пустынный и холодный низ. Дети от родителей спасались наверх. Здесь же дети родителями были низвергнуты в преисподнюю, под достоверные своды… Аида. Очевидно, старина Старого Пимена была древнее дворянской (Уран, Титаны…).

Но подчас, еще углубляя этот образ, Д. И. предстает мне уже не Зевесом — Гадесом, владыкой подземного царства.

Бедная Надя, по счету насильственных гранатовых зерен проведшая, за исключением одной италийской весны, в родном Аиде — всю жизнь!

И бедная ее мать, от всего гранатового яблока искуса — ни зерна не оставившая, в Аиде навек оставшаяся.

И бедная В. Д., и за порогом отцова царства опутанная гранатовыми бусами…

И бедная, бедностью — счастливая Оля, променявшая все Плутоновы сокровища на пшеничный колос земли, любви.

Бедные — вы, и бедный — ты.

Зевес или Гадес — этот отец своих детей держал и вел, как Олимпиец. Таких, как он, судить нельзя. Да их больше уже не

будет. Были.

Но была в нем одна область не олимпийская, не аидова, где ни лавров, ни гранатов, ничего, кроме золы и шлака. Это была область его ненависти: юдоненависти. Я еще нигде не сказала о ветхозаветном, изуверском, иудейском сердце Иловайского. Ибо что же его ненависть к евреям, как не библейская, Саваофом поведенная и Моисеем законоположенная ненависть правоверных к иноверцам и, ее пережиток, иудейская — к христианам? Иловайский, плачущий горючими слезами над заочно-отвергнутым, никогда не увиденным внуком, в жилах которого течет еврейская кровь (бедным Олиным сыном, недолго зажившимся), — что же он, как не изувер-еврей, плачущий над внуком, в котором течет христианская? И проклятия Д. И. последнему оставшемуся в живых ребенку — дочери, за то, что ввела в его род — еврейство — не те же ли проклятия того же изувера дочери, опорочившей его род — христианином?

Не-близнецы? Не-двойники?

Между таким юдофобом и тем же изувером — канат ненависти, связующий, и они, через эту связующую их жилу, глядятся друг в друга, как в зеркало.

Но правоверный, ненавидя, прав, православный, ненавидя — преступен.

Если был у Д. И. бог — то бог ветхозаветный, убийственный, губительный, бог с засухой из ноздрей и с саранчой за пазухой, — тот бог, не наш.

И, чтобы все сказать одним словом тогда семнадцатилетней Аси — Розанову, в ответ на какую-то его изуверско-вдохновенно-обличительную тираду:

— Василий Васильевич! На свете есть только один такой еврей. (Розанов, бровями) —? —

— Это — Вы.

———

И, выплывая на поверхность века, места и быта — Иловайский был менее всего самодур. Никогда — «чего моя левая

нога захочет» (та, с которой нынче встал!) — всегда — голова. Между ним и Багровым-дедом ничего общего, кроме неизбежной тяжести личности[64] и единственного в жизни обоих случая умиления над занесенным под их кровлю одиноким и бесстрашным женским существом. Новой особью женщины: единственной.

Д. И. мою мать явно чтил, и она, столь страстная и безоговорочная в своих суждениях, его никогда, ни в чем, ни разу, за все мое детство, ни словом не осудила. Странность этой расположенности была и во взаимоположении этих людей: отец первой жены, расположенный ко второй. Вторая, так страдавшая от первой (тени первой!) — к отцу этой первой. По существу же, они чем-то, отдаленно, походили, подходили (совершенно так же, как совершенно непохожие Софья Николаевна и Багров-дед). Больше скажу: если бы не закон, по которому дочь у отрешенного ученого и старика — непременно красавица и певица (или танцовщица), если бы не этот закон обратной наследственности, моя мать больше бы годилась ему в дочери, чем его собственная, собственные. И вот он, ни в жене, ни в дочерях не встретивший (да и не допустивший бы!) помощницы, любовался на помощницу другого, заместительницу в сердце его единственного друга его любимой дочери. Моя мать же, как отдаленная, но истая германка, больше всего любившая трудность и чтившая труд, не могла найти слова осуждения тому, кто всю жизнь, волей и неволей, в работе, как в жизни, ничего другого не знал. И не хотел знать. Взаимное признание сил. Думаю, что если бы она словами захотела определить свое отношение к Д. И., этим словом было бы: «Это уже вне суда». Что — «это»? Да то нечеловеческое одиночество, холодившее кровь в жилах его собственных детей. Нечеловеческое одиночество служения.

Но и он ей — немало прощал, не только всю ее сущность, для него, по существу, дикую, но и самое для него в ней существенное: ее юдоприверженность: постоянную и в России и за границей окруженность евреями, не объяснимую ни происхождением (полупольским), ни кругом (очень правым) — только Генрихом Гейне, только Рубинштейном, только еврейским гением и ее женским вдохновением, только ее разумом, только ее совестью, — хотела сказать только ее христианством, но, вспомнив слово «несть ни эллин, ни иудей», не могу, ибо для нее иудеи — были, и были — милее «эллинов», и обертоном всех этих «только» (всех не перечислишь!), лейтмотивом ее и моей жизни — толстовским «против течения»! — хотя бы собственной крови

— всякой среды (стоячей воды).

Так вот эту-то приверженность, для него совершенно непонятную и неприемлемую, Иловайский не сразу, молча, как органический порок в дорогом существе, раз навсегда — простил.

Когда она умерла, старик глубоко горевал. Помню его письмо к нам в Тарусу, твердое только почерком. «Вы потеряли не только близкого человека, но большого человека», — писал он своему единственному другу, моему отцу. «Друзей много, друга — нет» — вот еще одно его ворчливое, стыдливое (моему отцу же!) высказывание. Дружба эта, думаю, совсем не основывалась на общности идей. Если мой отец был верноподданный — то, как и православный, пассивно, традиционно, от прирожденного смирения, несуждения — и безразличия: безостаточной поглощенности другим: одним. Да и можно ли назвать «верноподданным» того, кто если и надевал свои ордена, то исключительно, чтобы просить за какого-нибудь забранного на сходке студента, которого и в глаза не видал. «Церковным» — того, кто, не желая смущать близких, а главное, делать из своей смерти «события», умер (сын, внук и правнук священника!) — без священника, хотя знал, что умирает. Такой «монархист» и «православный» прежде всего — человек. И — только человек. «Под небом места много всем» Вот его однострочное, детям по каждому поводу высказываемое исповедание. Иловайский же, кроме любви к России, знаменуемой для него ненавистью к инородцам, любви к монархии вплоть до суда над монархом, ничего не знал и не хотел знать. Дружба эта зиждилась на дорогих телах, тенях. Нет прочнее дружбы — на костях! Это были два старика, потерявшие одну семью. Старых друзей — не судят.

Вижу их вдвоем, в низкой широкой комнате с многими, многими, одинаково-одинокими окнами в сад. Над притолокой двери, в него ведущей, охотничий рог Иловайского (никогда не охотился!), которым он сзывал гостей и детей на трапезы, поражая молодежь мощью его звона: своих легких. Роландов рог историка, ныне навек замолкший.

Мы с Асей — в Спасском, именуемом также Крюковом, по названию станции Николаевской железной дороги. В детстве нам это невиданное Крюково мнилось крюком, железным крюком старьевщика, а то и клюкой, Ягой, значит, опять-таки — старостью. Со станции ехали на линейке, вещи без будущего и прошлого: вдоль событий, — мимо черных елей, мягко-колючими

мокрыми лапами задевающих по лицу, как кропилом. Разлатое здание, поданное как на ладони болотистой равниной. В дом — цветником: тем, что им было, тем, что им больше не будет. Внутри тишина. Старина. Чувствую, что комнаты здесь живут одни, продолжают, не замечая, что половины семьи уже нет. Не замечая и оставшейся половины. Так что выход А. А., откуда-то сбоку, в сером переднике с грудью, со стопкой белья в руках, а за ней и Д. И., тоже в сером и тоже с белым (газетной стопою!) скорей… неожиданен, скорей… нарушителей. Мы никогда не узнаем, насколько комнаты старых домов, которые мы, не замечая, минуем — нас не замечают, нас, как волны старого моря, минуют — в своем продвижении. Волны моря и рода, только изредка, по неучтимой прихоти, возвращающие через сотню лет берегу — наше кольцо, наше лицо — правнуку.

Сидим с Асей, сначала как на гвоздях, а потом уж — как пригвожденные, с краю штофного диванчика, на который нас усадила А. А., сама, неуютно и властно и от прямоты спины точно стоя, сидящая против нас на твердом стуле с работой в руках, к которым (рукам и работе) как будто бы и не снисходит. Между стариками канделябр в две свечи с зелеными наглазниками, от которых свет, на лица, исподлобья: «А не думаете ли вы, Иван Владимирович…» — «А не думаете ли вы, Димитрий Иванович…» Но чего не думают «И. В.» и «Д. И.», мы не слышим. Сидим убаюканные старческими интонациями и скучными сюжетами и зачарованные — немного как птицы — неотступным взглядом А. А. (вспоминающим? сравнивающим? невидящим?), в которой узнаю чудные глаза Сережи. Сережа был ее живым портретом, и теперь, после его смерти, она стала его живым. Тот же отродясь-иронический рот, та же возможность смеха в глазах (rire latent[65]) — смеха, ни им, ни ею не высмеянного. Сын, умирая, точно завещал ей свою молодость, чуть-чуть играющую по углам губ, — будто в прятки. В этот вечер я А. А. — любила, и она, точно почуяв, а может быть, и помягчев сердцем после потери своих, обаятельно и как с ровнями беседовала с нами, дикарями и сиротами, мать без детей — с детьми без матери, хвалила прочность нашей обуви, чистоту нашего французского выговора и в конце вечера до того необъяснимо растрогалась, что обещала нам в подарок: Асе — «Дети Солнцевы», мне — «Юность Кати и Вари Солнцевых», написанные какой-то ее родственницей. Самое изумительное, что мы, действительно, эти книги получили, каждая — новую, каждую с надписью: «От сердечно любящей А. А.».

Так сын в этот вечер перевоплотился в мать.

…Но был у иловайского молодого стола свой край — тихий. Это было царство небесное «херувимчика» Сережи, лебедя среди окружающих белоподкладочников, среди маменькиных сынков — сына матери. Здесь ни споров, ни вопросов. Здесь отродясь все было решено: предрешено. Сережа из всех детей отродясь вверился Пимену и даже умирая не спорил. Примерный крошка в платьице, примерный гимназист, примерный студент — противно? Да, если бы не неотразимое очарование глаз, усмешки, повадки, легкого налета не то какой-то виновности, не то подтруниванья над собой — не то над вами, за то, что вы в это благонравие так уж поверили… Чуть сощуренные светло-черные, в полном соответствии с ртом, чуть усмехающимся и тоже как бы сощуренным по углам — глаза какого-то непрерывного храбрящегося прощания, гощения (недаром и умер в гостиной!), глаза старшие глядящего, глаза рода, глаза — последнего в роду.

Тихоня, херувимчик, маменькин сынок, старушкин угодник, белоподкладочник, черносотенец?

Не тихоня, а тишайший, не херувимчик, а Cherub,[66] не маменькин сынок, а сын — матери, не стародамский угодник, а ревнитель древнейшей заповеди, не белоподкладочник — сама белизна, не черносотенец — горностай.

Странно: в этом красавце было какое-то сходство с Павлом, да, вопреки уродству, вопреки красоте. Павел был уродливой крайностью того типа, которого Сережа был прекрасным полюсом. Тип же один: смертный. Очень явные ноздри чуть коротковатого, как бы ножницами подрезанного носа, очень явные зубы, глубокие ямы глаз, подъямины скул. Точно смерти с них даже не меньше придется снять (дело не в худобе), а меньше придется над ними работать (modeler, формовать), чтобы получить свой собственный образ. Такие лица часто бывают у детей, верней: много детей с таким лицом. (Детей — много, лицо — одно.) Мальчиков. Непременно: темноглазых. Взываю к сочувственному (эвокативному) воображению читателя.

Когда я все дальше и дальше заношу голову в прошлое, стараясь установить, уловить, кого я первого, самого первого, в самом первом детстве, до-детстве, любила, — и отчаиваюсь, ибо у самого первого (зеленой актрисы из «Виндзорских проказниц») оказывается еще более первый (зеленая кукла в пассаже), а у

этого самого — еще более самый (чужая дама на Патриарших Прудах) и т. д., и т. д. (только в другую даль!) — когда оказывается, по слову поэта:

Я заглянул во столько глаз,
Что позабыл я навсегда,
Когда любил я в первый раз
И не любил — когда? —

а я сама — в неучтимом положении любившего отродясь, — до-родясь: сразу начавшего с второго, а может быть, сотого… в положении продолжения без начала, в положении отрожденного продолжения… Но конца у этого словесного периода, по самой внутренней его бесконечности, быть не может.

Правда, есть свидетельство моей матери о моей двухлетней бурной любви к черноглазому и — мазому студенту Айналову, но я этой любви не помню, кроме того, откуда мать могла знать, что это — первая, поручиться, что я уже с рук кормилицы не рвалась на другие, не ее? (Раз есть вещи, которые никогда не кончатся, всегда будут, — а эти вещи есть, и их знают все, — так же законно, чтобы были вещи, которые никогда не начинались, всегда были.) Но теперь, так сильно вжившись в Сережу, и по тому волнению, которое он, мною вызываемый, во мне вызывает, мне начинает казаться, — я на самом краю уверенности, — что первым живым мужским существом, которое я любила, был он.

Вижу себя четырехлетней толстой девочкой, часами в полном молчании простаивающей возле Сережи, глядя, как он заступом с Оки к нам на дачу в крутом боку горы роет лестницу. И когда однажды Августа Ивановна, раздраженная такой настойчивостью и устойчивостью — подвигнуть меня дальше очередной Сережиной ступеньки было невозможно: «Да что ты всё глядишь и глядишь на эту Terre?[67] Ничего в ней такого нет interessant!» — я, вздохнув всем животом: «Я гляжу на его голубые панталоны…» Голубые? Не знаю. Он тогда был гимназистом, а у гимназистов были серые. Или же, летом, суровые, холщовые. Голубизна Оки? Любви? Но слово и чувство «голубые» — помню.

Но что-то еще встает, раннейшее, позднейшее? «Сережа и Надя» — не Иловайские, а другие, не брат Сережа и сестра Надя, а другие, по-другому. В приложении к «Ниве». Прочитанное? Прослушанное? У нас в Тарусе, как по всем таким семьям России — укрыться от темныя ночи, — сбивались под белый ламповый

круг (подножка лампы, объемом в медвежью ногу: медведь лезет в улей!), и кто-то что-то читал. Иногда детей «забывали». Только помню ожог и — жуть тайны посреди груди, там, где ребра расходятся: никому не сказать про Сережу и Надю, Сережу и Надю… Сережа и Надя. Приложение к «Ниве», рассвет девятьсотых годов.

Странно, что от Старого Пимена я получила первый урок легкомыслия — непривившегося. Вот он, черным по белому, в малиновом альбоме Нади, гостившем тогда у сестры Валерии.

Спешу тебе в часы досуга
Написать десять строк.
Прими совет сестры и друга —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Ты весела, ты все хохочешь,
В головке бродит ветерок,
Но, если плакать ты не хочешь —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Пускай они тебе клянутся,
Пускай грозят взвести курок,
Ну, хоть на части разорвутся, —
Не верь мужчинам, мой дружок!

А если ты им верить будешь,
Они дадут тебе урок,
Который ввек ты не забудешь, —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Я сказала: легкомыслия, хотя по содержанию нужно бы сказать: благоразумия. Но так как ни то, ни другое мне на роду написано не было — то и урок не привился, и я, как, впрочем, и сама Оля, и бедная Надя, и все мы, бывшие, сущие, будущие, до скончания веков, — аминь — в «неверие» не поверила, встречному — верила.

Но дело не во мне, дело в тоне эпохи, диктующем одаренной и благородной девушке такие стихи в альбом на редкость одаренной и одухотворенной сестре.

Не сужу. Невинно. То же самое, что «Раз в крещенский вечерок», и ведь главное — те же девушки! («Как ваше имя?

Смотрит он и отвечает: Агафон».) Вечный сторожевой окрик одной сестры-другой (одной доверчивей другой!) — «Не верь: обманет!» Не вырождение девичества (бессмертного), а вырождение целой культуры, открывшейся Пушкиным и докатившейся до последнего листка девического дворянского альбома, на котором — уж не знаю, чьей рукой:

Когда я кончу мой вояж,
Mesdames, тогда я буду ваш!

(Прощание Собинова с московскими дамами, восход девятьсотых годов).

Однажды, тогда же — мне было семь лет — Сережа, мне: «Так ты мне свои стихи перепишешь?» — «Ну, конечно, черт возьми!» — «Но зачем же „черт возьми?“ — с таким недоумением, даже страданием, несмотря на чуть выросшую улыбку, что я, сразу ударившись подбородком себе в грудь (почему не ему?), разом всадила все четыре передние „лопаты“ в нижнюю губу. Странное чувство и не приписываемое себе, тогдашней, чувство, мне перед Сережей (семь лет и семнадцать) всегда было стыдно за себя — такую. Какую? Да здоровую (он тогда еще не болел), резкую, дерзкую, с черными ногтями. Я, как негр, стыдилась своей непоправимой черноты. Помню, какого труда мне стоило войти в залу, где на зеленом диване между зелеными филодендронами сидел он в своей небесного цвета тужурке с другими студентами, но не такими же, тоже в тужурках, но не таких. Какого сведения челюстей — пройти через всю эту паркетную пустыню и подать ему руку. „А стихи всё пишешь? Пиши, пиши!“ Мне от этого голоса сразу хотелось плакать. Плакать и каяться, что я такая злая, грубая, опять дала в зубы гувернантке, которая меня дразнила, жестянкой от зубного порошка, а вот он — такой добрый со мной, такой нежный… И чем нежнее и добрее он меня расспрашивал, может быть, что-то чуя и стараясь рассмешить: „Ну, улыбнись, улыбнись, улыбнись же наконец, неулыба!“ — тем я ниже клонила голову с накипающими слезами и — последним голосом: „Я лучше принесу тетрадь, вы сами прочтете…“ Это, кажется, единственный человек за все мое младенчество, который над моими стихами не смеялся (мать — сердилась), меня ими, как красной тряпкой быка, не вводил в соблазн гнева… Может быть — он сам писал стихи? Прозу — знаю. Двенадцати лет (рассказ моей матери, очевидицы) он по настоянию родителей стал читать на какой-то их „пятнице“ свою пьесу „Мать и сын“. Действующие лица: „Мать — 20 лет, сын — 16 лет“. Взрыв хохота,

и автор, не поняв причины, но позор поняв, сразу и невозвратно убежал в свою детскую, откуда его не могла извлечь даже мать.

А мать над ним — все могла. Больше скажу: он не мог иначе, чем мать. Не мог иного, чем мать. Думаю, они мало друг с другом говорили, больше — глядели. Ибо слова всегда опасны. Словами он бы должен был ей сказать: „Мама, зачем ты дергаешь Надю? Мама, зачем ты омрачаешь нашу молодость? Мама, мы скоро умрем“. Глазами же он ей говорил одно: „Люблю. Твой“.

Эта любовь у либеральной молодежи называлась „консерватизмом“, равно как собственный инстинкт самосохранения — „политической оппозицией“. Странные бывают слова (и чаще — иностранные!) для самых простых вещей. Но пока до простоты додумаешься…

Милый Сережа, четверть с лишним века спустя примите мою благодарность за ту большеголовую стриженую, некрасивую, никому не нравящуюся девочку, у которой вы так бережно брали тетрадь из рук. Этим жестом вы мне ее — дали.

Спасибо и за старый мир, ныне всеми, всеми преданный, больше всего же, хотя и невинно, теми, кто его хотят воскресить. Вы были его чистейшее зеркало.

Спасибо за верность дому — даже такому.

Спасибо за мать.

———

После Нерви брат и сестра стали умирать.

Не сразу. К нам за границу доходили слухи, что увезены они отцом в Спасское. Что кормит он их там овсянкой и заставляет спать с открытым окном. „Что ж (мать над письмом), и овсянка и окно вещи полезные, но вот — сырость… Ведь Спасское стоит на болоте… И не проще ли в Крым?“ Но в Крым (предполагаемые доводы Старого Пимена) одних нельзя: опять в Надю все сразу влюбятся, и вдруг примерного Сережу окрутит какая-нибудь дрянь? А матери с ними ехать — значит, бросать всё. Всё, значит — дом. Дом, значит — сундуки. На кого оставить? На маленькую немку-экономку? Но она сама цыпленок, где ей? Только и умеет, что испуганными голубыми глазами не мигая глядеть на всех и

особенно на Сережу, который никогда и мухи не обидел… Как ей совладать с вороватой горничной, лукавым дворником, пьяницей-кухаркой и всеми их земляками и кумовьями, — со всей этой грабиловкой? Кроме того, в Крым, значит — на две семьи. И кто же будет разливать чай на ученых пятницах у Д. И.? Оля? Да к самой Оле надо приставить гувернантку, ибо из троих она — пущая, самая тайная и упрямая, опять у нее обнаружила борный вазелин для ращения бровей и ресниц — и не только упрямая, но и расточительная, ибо тот вазелин — у меня под ключом, значит, этот — новый. А все эти вазелины и ресницы, чтобы нравиться этому — не дай Бог? — как только его в дом пустили? — Р-ну. Какой уж тут Крым?

И веером, в ответ на эти соображения, Д. И., лаконически:

— Везу их в Спасское. Свежий воздух и овес — это главное. Сережа умер первый. Про смерть свою он знал. Этот невинный, в земных делах несведущий ангелочек в этом последнем земном деле и в первом неземном оказался именно ангелом: знающим. Сколько я их видела, за всю болезнь моей матери, по Бориважам, по Квисисанам (почти уже — по часовням!), и на Ривьере, и в Шварцвальде, и в Ялте — врачей, выхаркивающих последний лоскут легкого с сияющей уверенностью, что это „маленький бронхитик“, отцов семейств, не догадывающихся проститься с детьми, юнцов, расписывающих вечера на двадцать лет вперед, волкоподобных старцев, заедающих саму возможность возможности — сырым мясом (женщины, даже самые молодые, неизменно, знали) — тяжелобольных, с опытом чужой болезни, чужих ежедневных, с теми же приметами смертей, вплоть до № такого-то, куда уносят смертника, или, как в Нерви, в дом напротив, по винтовой железной лестнице, под гробовые своды сестринского убора, — а вот этот, без всякого опыта умирания, ибо умирал он от этой болезни в семье — первый и никогда в санатории не был, — не обманувшись ни посулом Крыма, ни собственным румянцем, ни особой легкостью в теле, так легко принимаемой за силу: смертью в жилах, принимаемой за жизнь, этот сразу понял — и — принял. Все его земные помыслы были только о Наде (о которой он тоже знал) — увезти поскорей Надю, спасти Надю… Все иные мысли — в Боге.

А мать? Мать была в нем, он умирал с нею внутри, как с, внутри, собственным сердцем.

Надя, уже не вставшая, на вынос брата смотрела из

высокого окна залы, в которой теперь жила. Вчера — на товарища брата, который нравится и опять придет, нынче — на брата, которого любила и который уже никогда не придет. За которым — сама пойдет. Поедет — вот тем же снегом, такими же еловыми веточками, на тех же плечах… Вот в последний раз сверху, так сверху, так назвничь, как никогда еще, по-новому — внятно, по-высокому — далёко, и внятно, и тщетно, и близко, и далёко — как на ладони, отставленной за версту! — как собственное лицо на дне колодца — в последний раз лицо Сережи, от подпирающего лазурного ворота как бы все еще храбрящееся…

Усмешка… Ресницы…

Рядом с кареокой румяной смертницей, обняв подругу за плечо, поддерживая и даже удерживая — светловолосая, с глазами, плачущими точно своим же цветом, с возрожденской головкой, точно впервые ознакомившейся с собственным весом. Вера Муромцева, ищущая слов и никаких не находящая, кроме слез. Внизу, на снегу, черная одинокая фигурка: та самая немочка-экономочка, так боявшаяся взглянуть на Сережу, а когда глядевшая — то с чем-то пущим страха. Достоять обедни ей не дали и на кладбище не пустили — надо прибрать дом к возвращению — и вот торопливо прибирает, только не дом, а двор — от тех самых веток (чтобы не заметил дворник!). В руках целый букет — черных, мохнатых, так похожих на те, в Спасском. Эти ветки она будет хранить до дня своей смерти, для дна своего гроба, на дне своего экономкиного чемодана, когда осыплются иглы, соберет их в мешочек, мешочек завяжет лентой с шоколадной коробки, поднесенной ей иловайской молодежью (значит, и им) в прошлый сочельник. Сочельник… Ельник…

Наде, умершей месяц спустя, Бог послал тяжелую смерть. Не надо научных слов для такой вечной вещи, как смерть молодой красавицы. Как бы ни назывались сопутствующие ее болезни явления — муки были ужасные, и ни один врач ее от них не избавил. Умирала она тяжелее брата еще и потому, что хотела жить. Не о непостыдной безболезненной кончине живота молила, а о жизни — какой бы то ни было — только жить!

Что может быть жесточе такой Нади, из горячей постели горячей рукой тайком передающей монашке деньги, чтобы молилась о ее здравии по всем монастырям Москвы.

Умерла она в феврале, и выносили ее по тому же снегу.

Жестоковыйный старик — в этот день он впервые выглядел стариком, а было ему уже сильно за семьдесят, — на похоронах плакал. Надя в гробу лежала красавица. Спящая красавица с старопименовской живой картины, нынче по-настоящему — спящая, с тем же, тогда чуть-чуть лукавым, ныне — знающим началом улыбки, или того, что нам, на спящих — глядящим, улыбкою кажется. „Я ничего красивее не видал, — рассказывал отец, шагая с нами, Асей и мной, тоже мимо черных елей, только не мокрых — трещащих от зноя, шварцвальдских — не спасских (закрываю глаза, чую запах и слышу, как хвоя трещит… И все они умерли, умерли, умерли…). — С распущенными каштановыми кудрями (умирала тяжело, и не могли расчесать), лицо — розовое, улыбка… — и с интонацией, близкой бы к негодованию, если бы сам, весь, не был сплошное смирение: — Такая красавица… Такая красавица… — И, внезапно, оборвав и фразу и прогулку: — Ну, домой пора. А то мама заждалась“. (Мать моя умерла год спустя от той же болезни.)

Тут я должна рассказать одну очень странную вещь. Рассказываю я ее (февраль 1905 год) впервые. Рассказываю я ее потому, что весь тот мир — Иловайского Старого Пимена и нашего цветаевского Трехпрудного, молодых красавиц, как Надя, и одиноких, на мой лад, девочек — кончен. Кончен не только мой тот век, но весь тот век. Рассказываю по неоплатному долгу — сердца.

Когда я в закрытом учебном заведении во Фрейбурге из письма отца узнала о смерти Нади, первое, что я почувствовала, было — конец веревки, вдруг оставшийся к меня в руке. Второе: нагнать. Вернуть по горячему еще следу. Даже (как слезы) загнать — откуда пришло. Сделать, чтобы этого еще не было. Опередить — назад. Восстановить ее на прежнем (живом, моем) месте и, встав перед ней, не пустить. Первый ответ на удар было: сорваться с места. Но куда? Новодевичье кладбище далёко, да там ее и нет. Где же искать? В Нерви, конечно, где я ее видела в последний раз, на фоне лигурийского залива, под изгибом белой шляпы, выгнувшейся из заворачивающего экипажа. И вот, как по команде, — в Нерви. Обежав шагом колотящегося сердца все виноградом крытые дорожки нашего сада с прямо на голову свисающими лимонами и мандаринами, спустившись на мою соименницу „марину“ („Видишь, вот ты и знаменитость! Везде твое имя написано“, — смеясь, Надя, мне…), оттуда — в дом, сначала в их комнату, где они вдвоем с Сережей кашляли: кто — кого, потом в столовую, где под Новый год пускали лодочки с

желаниями, и все они задумали одно, а она — другое, и ничего не сбылось! Потом в монастырский дом, не обнаружив ее нигде, обнаружив, что ее нет — везде, я стала в тупик. Где же мне ее искать, чтобы сказать… Чту? Да то самое. Устав гадать и отложив на перед-сном, опять перечла письмо отца: „Сообщаю вам грустную весть. Вчера, такого-то февраля, умерла в больших страданиях бедняжка Надя…“

У—мер—ла. Значит, нигде?

И вот начинаются упорные поиски ее — везде.

„Куда ты?“ — „Платок забыла в дортуаре“. Проглотив лестницу, несусь по гулкому коридору, на поворотах чуть ли не отрываясь от собственного тела, опережающими и все же непоспевающими ногами влетаю… Может — здесь? Разве знает, что все внизу. Но — ничего, кроме блеска холодного, мною же оттертого умывальника, кроме холодной белизны мною же накрытой постели, в рядах таких же белых и безнадежно-пустых. Как же я не сообразила, что здесь слишком светло? Что здесь можно только быть, или не быть. Где же, сейчас, темно? Есть темное место, всегда темное, музыкальная комната, одна во всем этаже, нежилом. Но туда, до Klavierьbung,[68] не пустят. Как прожить эти три часа до шести?

— Klavierьben, Marina. — Намеренно-медленным шагом выхожу, уже не бегу, не бегу, даже когда одна в пустом этаже, с полным самообладанием, аккуратно, во всех подробностях управляюсь с туго поддающейся дверью (дать успеть прийти…). Осторожно, чтобы не спугнуть, просовываю голову, за ней, как ненадежного постороннего, спускаю тело. (Самое для меня теперь дивное, что я не только ее не боялась — ее боялась испугать.) Сажусь. Не оглядываюсь. Открываю рояль. Ганон. В полной честности проигрываю все положенные упражнения, событий не тороплю, само придет (сама придет)?.. Но, когда перехожу к „Invitation a la valse“,[69] сердце не выдерживает и, не обрывая игры, в лад педальному нажиму: „Надя! Надя! Надя!“ — сначала мысленно, потом шепотом, потом вполголоса… (Во весь голос не позвала, не назвала никогда.)

— Das Mägdlein schläft — ihr Eltern jammert nicht…»[70] Какой бог внушил дубовой Frl. Risky задать моему классу именно эти стихи? И не тот же ли бог внушил убогой Frl. Annie задать мне бетховенское «Lied für Elise»…[71]

Нади я не увидела никогда, как ни взывала, как ни умоляла, как ни подстерегала — на всех коридорных поворотах оборотом головы жирафы на каждый мнящийся шум, шумок; как ни выстаивала — стойкой вкопанной гончей — все на той же полянке нашей ежедневной прогулки, пока другие ловили мяч; как воровски ни врастала в стену в простенке между платяными шкафами, мимо которых сейчас должна пройти; как ни выглядывала за благоприятствующей завесой ладана в ряде семисотлетних деревянных неразумных и разумных дев и, еще настойчивее, из собственных глаз выскакивая — в многообещающих портьерах Fremdenzimmer…[72] С порога Fremdenzimmer, с постели Krankenzimmer,[73] во всем движущемся, во всем кажущемся — в каждом молчании — в каждом звучании — крадучись — наскоком — самоутверждаясь — развоплощаясь…

Нади я глазами не увидела никогда.

Во сне — да. Все тот же сон: прихожу, она только что была, иду за ней — она уходит, зову — оборачивается с улыбкой, но идет дальше, хочу догнать — не могу.

Но знаки — были. Запах, на прогулке, из цветочного магазина, разом воскрешающий цветочный бой и ее, цветком. Облако с румянцем ее щек. С изгибом ее щеки. Даже жидкий ячменный кофе, пока не налили молока, — с золотом ее глаз. Знаки — были. Любовь всегда найдет. Всё было знак.

Может, в моем повествовании не увидят главного: моей тоски. Тогда скажу, эта любовь была — тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти — для встречи. Нестерпимое детское «сейчас!». А раз здесь нельзя — так не здесь. Раз живым нельзя — так. «Умереть, чтобы увидеть Надю» — так это звалось, тверже, чем дважды два, твердо, как «Отче наш», так бы я со сна ответила на вопрос: чего я всего больше хочу. А дальше? Дальше — ничего — всё. Увидеть, глядеть. Глядеть — всегда. И, странно: я, такая беспощадная в своей внешней самооценке, так стыдившаяся своей некрасоты перед ее (и Сережиной — и всякой) красотою, ни секунды не усумнилась:

«А что, если Надя, такая красавица, увидев меня, некрасивую, да еще маленькую — не захочет?» Точно я уже тогда знала стих Гёте:

O, lasst mich scheinen, bis ich werde.[74]

а что werde, сбудусь я там по образу своей души, то есть такая же, как Надя, а если даже нет. если даже старая оболочка… —

Und diese himmlischen Gestalten
Sie fragen nicht nach Mann und Weib, — [75]

значит, и на красоту и на некрасоту не смотрят… Точно я уже тогда знала то, что так непобедимо, неискоренимо и торжествующе знаю теперь: что там — отыграюсь. И последнее предзнание людей с их чистосердечнейшими поговорками о псе и льве, синице и журавле, погонщике мулов и царе — я знала, что соперников в этой любви у меня не будет.

Что главное в любви? Знать и скрыть. Узнать о любимом и скрыть, что любишь. Иногда скрыть (стыд) пересиливает знать (страсть). Страсть тайны — страсть яви. Так было и со мной. Мне было невыносимо говорить о Наде и невыносимо не знать о ней. Но еще невыносимее называть, чем не знать. Я жила, как робкий нищий, случайными подачками, как потом, выросши, в Революцию, подачками музыки на улице, ночью, под чужими окнами.

(Так мне раз из арбатского ночного окна «подали» Рахманинова — сам Рахманинов.) Я жила случайными словами о ней, без моих, наводящих. Больше скажу: как только отец, нашими далекими еловыми походами (а мать все лежала, лежала, лежала, это было ее последнее лето, уже лежачее, уже под елями), как только отец начинал нам что-нибудь о той рассказывать, я каким-нибудь косвенным, отводящим, уводящим в подробности болезни и от любимой вопросом, с какой-то неправдоподобной, противоестественной для меня хитростью и удачливостью отводила (грозу счастья). Так я, совсем маленькая, молила Бога в сочельник утром, чтобы вечером еще не было елки, которой я так безумно ждала, которой жила. Так я, старше, с первых слов, уверткой или шуткой, пресекала любовное признание, конца которого, случалось, потом уже никогда не слыхала.

Что тянуло эту юную покойницу из тайного далека, с Новодевичьего в Шварцвальд (издальше!) ко мне, маленькой девочке, ей так мало знакомой? Ибо теперь вижу, что моя любовь

была ее воля, что она ко мне шла, за мной ходила по меховым горам Чернолесья, она тихонечко и настойчиво зазывала меня в пену местной Ниагары — маленькой, холодной, глубокой и бурной речки, обрывающейся, как жизнь. Она заставляла меня молчать о ней — всем, особенно матери. Она глядела на меня из каждого миловидного жарового женского лица с санаторского кресла. Она, пользуясь моей близорукостью, заставила меня влюбиться в одну такую молодую больную, сменой сходства и несходства, очарования и разочарования, грубо говоря: неизбежностью контраста в свою пользу только пуще предав — себе. Влюбленность, которую я при своей тогдашней и всегдашней честности: бесстрашии осознания и названия, ни секунды не ощутила изменой:

только подменой — и какой болевой!

Больше скажу: молодая покойница точно передала мне весь свой неизрасходованный румянец, ибо как только кто-нибудь: «Бедная Надя!» — или мать, глядя на свою сотоварку (ту самую!): «Боюсь, что она будет умирать, как Надя», — я, как разогнувшаяся пружина, не вскочив со стула, а выскочив из себя, уже неслась «за книгой» или «за палкой», зная, что через еще-секунду уж не смогу, никакой силой, никакой волей сдержать румянца: пожара! Любовь слепа? Но как люди на нее слепы! Так, даже мать никогда не разгадала моей тайны, — на лбу написанной! — озабоченно говоря мне по возвращении: «Какие у тебя резкие движения! На полуслове… Так ведь испугать можно. Книга… Палка… Ведь не горит!» Нет, горит.

…Почему не Сережу (любила)? Покаянную любовь моего раннего детства? Почему с его смертью примирилась, приняла ее — как всй?

А потому что Сережа сам смирился, а Надя — нет.

А потому что Сережа уже не хотел жить, а Надя — да.

А потому что Сережа совсем умер, а Надя — нет. Совсем ушел туда, со всем, что в нем было, а Надя, со всем, что в ней было, в ней било! не рассталась, совсем осталась.

И еще потому, быть может, что о Сереже уже так горевала мать, а о Наде тбк, как я (утверждаю это и сейчас), никто — никогда.

Милая Надя, чего тебе от меня было нужно? Стихов? Но они тогда у меня были детские, к тому же — немецкие…

Почему именно за мной ходила, передо мной вставала, — именно мной из всех тех, которые еще так недавно за тобой и вокруг?

Может быть, милая Надя, ты, оттуда сразу увидев все будущее, за мной, маленькой девочкой, ходя — ходила за своим поэтом, тем, кто воскрешает тебя ныне, без малого тридцать лет спустя?

———

Д. И. Иловайского я в последний раз видела, точней — слышала, накануне открытия музея Александра III, в мае 1912 года, у нас в доме, в неурочно поздний час. Не дожидаясь прислуги, живущей через двор и, наверное, уже спящей, Сережа Эфрон, за которого я только что вышла замуж, открывает. Скрип парадного, какое-то ворчание, из которого выясняются слова: «Значит, дома нет?» И, проходя в залу: «А гардероб — будет?» Молчание, затем покашливанье вопрошаемого. Вопрошающий, настойчивее: «Гардероб, говорю, будет? Под расписку, спрашиваю, сдают?» Выглянув из столовой, вижу, как Сережа, с всё еще любезной улыбкой, слегка подается от неуклонно, с бесстрастием Рока надвигающейся на него шубы, в которой (май!) узнаю Д. И. Иловайского. «А то (похлопывая себя по широченному, как у рясы, рукаву) она у меня небось бобровая, как бы (с желчной иронией) по случаю торжества-то — не лишиться! Тоже мода пошла, перекинет через ручку и „будьте покойны-с“, с одной улыбкой-с, без всякой расписки-с… А кто его знает — служитель или грабитель переодетый? На лбу ведь не написано, а если и написано — так ложь. Нет, нумер нужен, нумер!» Спрятавшись за самовар, гляжу дальше. Пауза и, прищурившись: «А вас я что-то не припомню… В прихожей-то было за Андрюшу принял, а теперь вижу — нет: еще выше и худощавее (и, неодобрительно) и годами будто еще моложе…» — «Я муж зятя… то есть зять дочери — Марины… Я хотел сказать: Ивана Владимировича. Муж». Иловайский, недоверчиво: «Муж? — и уже бесстрастно: — А-а-а… Так передайте, молодой человек, Ивану Владимировичу, что приходил его тесть от Старого Пимена, про гардероб узнавал».

И, перепутав родного внука с чужим зятем — уже сказанием! Уже привидением! — метя бобровой шубой дубовые половицы, темнеющей залой, за эти несколько минут совсем стемневшей — как снеговое поле, снеговым полем своей волчьей доли, скрипящим парадным, деревянными мостками, лайнувшей калиткой, мимо первых фонарей — последней зари — домой, к своему патрону — Пимену, к патрону всех летописцев — Пимену, к Старому Пимену, что на Малой Димитровке, к Малому Димитрию, к Димитрию Убиенному — в свой бездетный, смертный, мертвый дом.

———

Большое тире. Тире длиною в шесть лет: всей войны и начала Революции. Тире, заполненное для Иловайского потерей всего его мира.

1918 год. Весна. Стук в дверь. Редкий гость. Брат Андрей, о котором никогда ничего не знаю, ни жизни, ни окружения, ни горестей, ни радостей, ни даже адреса, ничего, кроме того, что он нас, полуродных сестер, любит несравненно больше, чем родную, и если кого-нибудь на свете любит — то нас.

«Марина! У тебя еще живет этот жилец — как его?» — «Икс? Живет». — «Так ты уж, пожалуйста, устрой, чтобы выпустили деда». — «Как — выпустили?» — «Ну, да, сидит в Чека уже неделю». — «За что?» — «За убеждения. Пришли и арестовали. Совершенно неприлично». — «А сколько ему сейчас лет?» — «А Бог его… Около ста, должно быть». — «Ну-у?» — «Во всяком случае девяносто». — «Хорошо, я попытаюсь».

Поздно вечером сторожу у тогда еще звонившего телефона своего квартиранта Икса. Топ-топ-топ-топ — по лестнице. Открываю. «Генрих Бернардович!» — «Да?» — «Нечего сказать, хороши ваши большевики, — столетних стариков арестовывают!» — «Каких еще стариков?» — «Моего деда Иловайского». — «Иловайский — ваш дед??» — «Да». — «Историк?» — «Ну да, конечно». — «Но я думал, что он давно умер». — «Совершенно нет». — «Но сколько же ему лет?» — «Сто». — «Что?» Я, сбавляя: «Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина». — «Пом-нит Пуш-кина?! — И вдруг, заливаясь судорожным, истерическим смехом: — Но эт-то же — анекдот… Чтобы я… я… историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал…» — «Он не виноват. Но вы понимаете, что это

неприлично, что смешно как-то — то же самое, что арестовать какого-нибудь бородинского ветерана». — «Да — (быстро и глубоко задумывается) — это-то — действительно… Позвольте, я сейчас позвоню… — Из деликатности отхожу и уже на лестнице слышу имя Дзержинского, единственного друга моего Икса. — Товарищ… недоразумение… Иловайского… да, да, тот самый… представьте себе, еще жив…»

Неделю мой скромный Икс гонял по иловайскому делу, он — олицетворенные две ноги — на автомобиле! Неделю я ничего не спрашивала, ибо больше, чем верила — знала. И на седьмой день в тот же ночной час — топ-топ-топ-топ — (ровно в четыре скачка брал лестницу) — стук-стук-стук: «Марина Ивановна!» — «Да». — «Могу вас поздравить! Выпустили вашего дедушку. — Сияет, но лицо злое, то же сияние и злоба в голосе. — Но зззнате — не легко далось!» Я, робко: «Спасибо, я не нахожу слов, чтобы…» — «Совсем не надо, я с удовольствием, собственно без всякого удовольствия, я бы вообще не, но… Ему правда, девяносто лет?» Я, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить: «Девяносто восемь». — «А выглядит — шестьдесят. И голос бодрый. Да. Вы говорите — Наполеона помнит?» — «Всё, что угодно! А главное — Пушкина». Икс, на секунду полузакрыв глаза: «Замечательно!» Я, пользуясь секундой: «А за что его арестовали?» Икс, открывая настежь: «За германскую ориентацию». Я в полном чистосердечии изумления: «Но он же казак, даже станица есть „Иловайская“». — «Я не говорю: за германское происхождение — для нас происхождение не играет роли, мы же (точно кладя мне в рот, один за другим, шесть кусков сахара) Интер-на-ци-о-нал, я говорю: „ориентацию“». Я многозначительно: «А-а-а…» — «Он очень, очень бодр для своих лет. И даже не для своих». — «Он еще недавно на велосипеде катался. И в рог трубил». — «В рог? Скажите! (с любопытством). А зачем, собственно?» — «Чтобы все слышали. В Роландов рог — ну знаете, исторический. А верхом катался, пока лошадь не отняли». — «Мы», — сияя, заканчивает Икс.

На следующее утро явление Андрея. «Ну, Марина, молодец твой Икс! Выпустил деда». — «Знаю». — «Три недели просидел. Ругается!» — «А ты сказал, через кого?» — «Да что ты!» — «Напрасно, непременно передай, что освободил его из плена еврей Икс». — «Да что ты, матушка, он, если узнает — обратно запросится!»

Обратно не запросился — сам вышагнул. Из мира, где Иловайского сажает Игрек и освобождает Икс — в мир иной, о

котором, думаю, за всю свою жизнь мало думал, целиком и отродясь отдавшись миру не менее потустороннему: былому.

Иловайский умер в 1919 году, 91 году от роду, кбк — не знаю и навряд ли узнаю, ибо единственный, кто мог бы мне сказать: его единственный внук и мой единственный брат Андрей в апреле 1933 года сам сошел в могилу, от того же старопименовского наследственного недуга, на четырнадцать всего лет пережив своего древнего деда. Единственная же внучка его, полуродная сестра моя Валерия, настоящая наследница старопименовских страстей и его главной: непрощания, до сих пор еще не может простить моей матери († 1906 году) замещения в доме ее матери († 1890 году) и, ненавидя ее в наших, с Асей, голосах, лицах, жестах и даже буквах! Ненавидя так, как можно ненавидеть единственно-ненавистное, дважды воскресшее, именно: ненавидя: не могучи видеть, а видя — наглядеться — эта сестра Валерия мне, естественно, ничего не захочет сказать. Могла бы привести библейскую по ненависти сцену, тут же над ямой, этой сестры Валерии моей кротчайшей сестре Асе, на руках которой и умер Андрей, но это уже относится к нашей семейной хронике.

И, чтобы кончить о Д. И. Знаю только, что умер он у Старого Пимена и что работал до последнего дня. Да и не знала бы — знала бы.

Есть у меня на память о нем, с собой, его книга о моей соименнице, а отчасти и соплеменнице Марине, в честь которой меня и назвала мать.

———

Которая зима? Все они сливаются в одну, бессрочную. Во всяком случае, зима «прыгунчиков», непомерно высоких существ в белых саванах, из-за белого сугроба нападающих на одинокие шубы, а иногда и, под шубой, пиджачную пару, после чего — уже запоздалый ходок — в белом, а непомерно высокое существо, внезапно убавившись в росте — в шубе. Так вот, этой зимой прыгунчиков захожу с ныне покойной Т. Ф. Скрябиной к одним ее музыкальным друзьям и попадаю прямо на слова: «Необыкновенный старик! Твердокаменный! Во-первых, как только он сел, одна наша следовательница ему прямо чуть ли не на голову со шкафа — пять томов судебного уложения. И когда я ей: „Ида Григорьевна, вы все-таки поосторожнее, ведь так убить можно!“ — он — мне: „Не беспокойтесь, сударыня, смерти я не

страшусь, а книг уж и подавно — я их за свою жизнь побольше написал“. Начинается допрос. Товарищ N сразу быка за рога: „Каковы ваши политические убеждения?“ Подсудимый, в растяжку: „Мои по-ли-ти-че-ски-е у-беж-де-ни-я?“ Ну, N думает, старик совсем из ума выжил, надо ему попроще: „Как вы относитесь к Ленину и Троцкому?“ Подсудимый молчит, мы уже думаем, опять не понял, или, может быть, глухой? И вдруг, с совершенным равнодушием: „К Ле-ни-ну и Троц-ко-му? Не слыхал“. Тут уж N из себя вышел: „Как не слыхали? Когда весь мир только и слышит! Да кто вы, наконец, черт вас возьми, монархист, кадет, октябрист?“ А тот, наставительно: „А мои труды читали? Был монархист, есть монархист. Вам сколько, милостивый государь, лет? Тридцать первый небось? Ну, а мне девяносто первый. На десятом десятке, сударь мой, не меняются“. Тут мы все рассмеялись. Молодец старик! С достоинством!»

— Историк Иловайский?

— Он самый. Как вы могли догадаться?

— А как вы думаете, он про них действительно не слыхал?

— Какое не слыхал? Конечно, слыхал. Может быть, другие поверили, я — нет. Такой у него огонь в глазах загорелся, когда он это произносил. Совершенно синий!

Рассказчица (бывшая следовательница Чека), сраженная бесстрашием деда и многих других подсудимых, менее древних, следовательница эта, постепенно осознавшая, что и белые — люди, вскоре оказалась уже служащей кустарного музея, отдел игрушек. Мужа убили белые. Был у нее большеголовый, бритый, четырехлетний голодный сын…

———

Остается конец А. А. Он страшен. Потеряв всех (последняя дочь была за границей), А. А. осталась одна, втиснутая со всеми своими мебелями и сундуками в одну комнату — ту, полуподвальную, со сводами, бывшую Надину, окнами в сад. Вокруг был новый мир, от первого тесного круга вселённых жильцов — до кругозора новых идей — до огромного, в сплошных заревах, окоема Революции. Как же она с ним справлялась? Во-первых, она с ним сражалась. Осталась, но отстаивала. Что? Свое добро. И отстояла. Чтобы в полный разгар Революции, нося такое

имя, в таком суде, выиграть не один, а целых два процесса с таким «арендатором» (так она это, для приличия, называла), для этого нужно было быть ею, то есть, по слову близкого ей лица, фанатиком собственности.

Попытаемся восстановить ее день, все тот же день одиннадцати революционных зим.

Вставанье в холоде. (Ничего, полезно, всю жизнь проспала с открытой форткой.) Чай без сахара (тяжело). Черный хлеб (именно тяжело). Очередь за мылом. (Ничего, выстою. Отстою свое, а уж свое — отстою!) И вот, при полном шутливом одобрении всей очереди («Ну и сурьёзная гражданка! сквозь такую не протиснешься!») победоносное изгнание «нахала» и свой кусок немылящего мыла — в руках. Домой, есть. Ест мало — приучена. (Вот только — овса нет! Точно они с Д. И. только для того и соединили свои жизни, чтобы вместе есть овес. Есть в этой ассоциации что-то умилительно-конское…) После еды — рытье в сундуках. Вижу ее на коленях, подперев все еще заносчивой головкой все еще маркизы кованую крышку сундука. Голова — болит. Ничего, своя ноша не тянет! Скаты сукна, полотна, шевиота, тисненого муара, атласа… С чем расстанусь? От чего оторвусь? И подумать, что все это будут носить хамы. Хамки. Хамки ради на коленях стою…

Смоленский рынок. Пожилая дама, в шубе с буфами, в высоких востроносых башмаках. Из-под белого кавказского (Сережиного еще) башлыка — черные глаза без всякой милости. Не предлагает, не протягивает, перевесив через отставленную руку — являет. Безмолвно. Но товар сам за себя говорит. «Сколько?» — «Столько». — «Да что ты, тетка… (под пронзительным взглядом) — да что вы, гражданка… (и, не вынося глаз) — да помилуйте, мадам, рази… Совсем гражданина обездолить хотите… Хотите?» (Цифра.) — «Нет», — точно лед треснул. О, эта ли уступит копейку с аршина — этим, когда и собственным своим молодым страстям, и родным детям не уступила. Никогда — никому — ни в чем. И вот, под двойным давлением недобрых глаз и добротности товара, гражданин ей в ладонь бумажки, себе под мышку — аршины. Стоят пересчитывают, каждый — свое, в беззастенчивости своей являя собой картину полного равенства.

Домой, в нору, с горстью рафинада в бумажке, с белым хлебом, но не под мышкой, а на дне английского, свиной кожи,

чемоданчика.

Письмо за письмом от дочери. Настойчиво зовет за границу. Но — как расстаться с вещами? С собой взять? Всего не возьмешь. Продать? От одной мысли мороз. Как же без всего, одной, без арьергарда сундуков, корзин, мешков, узлов? Изредка посылки нуждающейся дочери: когда несколько английских фунтов от удачной продажи на Смоленском, когда шелковое платье gris-perle,[76] из только одного шлейфа которого та в Сербии шьет себе целое платье.

Кто-то в 1927 году о ней из Москвы пишет дочери: «Обстановка у мамы ужасная — одна комната, сплошь заставленная вещами, и день и ночь горит в ней свет…»

Днем — от куста, то снеговым, то лиственным грузом застилающего свет.

Ночью — от дум.

Так — до 1929 года.

———

Январь и ночь. А. А. собирается спать. Свет горит — тот самый, что и днем: верхний, белый, ровный. За окном — мерзлый сад. Под самым окном — во весь его дубовый ставень — замороженный сиреневый куст, как сторожевой пост.

Снимает с себя верхнюю в клетку, юбку, нижнюю, с крючком, юбку, на двенадцати пуговицах лифчик (четвертая на одной нитке — закрепить!), распускает вздержки, аккуратно складывает вещи в стопку. В одной рубашке, пробравшись между сундучной толкучкой, подымает покатую, горбом, крышку, обнажает мраморную доску, подставляет под струйку губку. Надевает ночную кофту, продевает в иголку нитку. Вынув шпильки, обрабатывает щеткой до блеску. Вплетает косоплетку. Встав на циновку, молится на лампадку: «Хлеб наш насущный» и за упокой душ.

Стук. В ставню — куст, мерзлой веткой, как мерзлым пальцем. Точно вправду пальцем: вторым его согнутым, суставом. Раз и второй. А что, если будет?.. — Третий. И вот, крадучись, удаляется. А. А., хладнокровно: «Нервы». Но все же, для

достоверности, пробравшись между острыми углами сундуков, привстав коленом на так и не убранные стопы «Кремля», приникает лбом к раме. Ничего. Глухая стена ставня. Оттолкновенье мерзлого стекла.

Да и чего бояться в таком доме? Со столькими жильцами? Сколько жильцов — столько револьверов. За такими ставнями? С таким дворником? Да и кому пугать по ночам, зачем? (В ту минуту А. А. забыла, что стучать можно не только, чтобы испугать, а и чтобы остеречь. И если бы она, как ей в самую смутную секунду было захотелось, сейчас — вышла, она бы, может быть, увидела не страшное, а родное — и в черноте ночи светло-черноглазое! — не по земле, а над землею отходящее от окна. А если бы и никого, ничего не увидела, кроме припавшего куста сирени, — то предостерегающий может, за отсутствием иных возможностей, постучать и веткой…)

Собравшись с духом, входит в ледяную постель.

Закрывает глаза, не свет. Свет горит, тот же, что и днем, так же, как и днем: ровно, неживо. Под закрытыми веками — лицо того солдата с рынка, которому вчера продала парчу. (Ту, от Надиного боярского, так и не сбывшегося, костюма.) Молодое лицо, безбородое. Через лоб «большевицкий» вихор. А жаль, что только по стольку-то аршин, хороша парча, дал бы больше…

А — сын? Забыла? Нет. (Нынче, разгребая сад, задела лопатой куст: зазвенел, как венок. В годовщину не забыть убрать фарфоровый: и цветы обились, одна проволока…) Но туда, на самое дно, где он, и только он один, не спускается никогда. Иначе — не жить. А жить — надо. Зачем? А сундуки? Кому же все пойдет: неношеное, нетронутое, некроеное, десятилетия подряд храненное и дохраненное до нынешнего дня. Дочь — далёко… Этим? Все — тем?! Нет, жить надо, всё прожить, чтобы не осталось, не досталось. Ничего. Никому.

Спит.

Беда пришла не из окна. Беда пришла из двери. Стук. А. А. спит. Вторичный, спешный. «Кто там?» — «Иван, дворник. Александра Александровна, дело до вас есть». — «Какое дело? Завтра!» — «Нет, дело неотложное, вы уж, пожалуйста, простите, что беспокою, долго не буду». — «Погоди входить, открою и сейчас лягу».

…Входит. Стоит молча. Глаза не те. А. А., властно и нервно:

«Ну? — Упавшим голосом: — Да ну же?» Тот, в дверь: «Входи, ребята».

———

Старый дом точно только того и ждал.

———

Пришли шайкой. Пришли за миллионами, а нашли всего только шестьдесят четыре рубля с копейками. «Добра» не тронули — тряпки. Бежали на Кавказ, были прослежены, схвачены, судимы, иные — расстреляны.

Дом у Старого Пимена кончился в двойной крови.

———

И кончаю словами одноименных воспоминаний Веры Муромцевой, именем которой свои и начинаю:

— Ныне в приходской церкви Старого Пимена комсомольский клуб.

1933

БАШНЯ В ПЛЮЩЕ

Недавно, раскрыв одну из рильковских «Элегий», читаю: «Посвящается княгине Турн-унд-Таксис». Турн-унд-Таксис? Что-то знакомое! Только то было: Тур. Ах, знаю: башня в плюще!

———

— Russenkinder, ihr habt Besuch! («Маленькие русские, к вам пришли!») Это истопница Мария влетела в пустой класс, где мы, сестра Ася и я, единственные оставшиеся в пансионе пансионерки, равнодушно перевертываем листы наших хрестоматий в ожидании завтрашней, ничего не обещающей, Пасхи.

— Господин, — продолжает Мария.

— Какой?

— Как все. Настоящий господин.

— Молодой или старый?

— Я же вам говорю: как все. Не молодой и не старый, как надо. Идите скорей, только, фрейлейн Ассиа, уберите волосы со лба, а то у вас глаз не видно, как у крысоловки.

«Зеленая комната», заветная, начальницына, она же приемная. Навстречу нам, с зеленого кресла — знакомый, неузнаваемый, всегда беспиджачный, а сейчас даже в крутом воротнике, всегда с пивным подносом в руках, а сейчас со шляпой и тростью, такой дикий в соседстве с начальницей, на фоне этих зеленых занавесей — хозяин «Ангела», Engelswirth, владелец нашей чудной деревенской гостиницы, отец наших летних друзей Карла и Марилэ.

— Господин Майер так любезен, что приглашает вас завтра к себе, в свою семью, на целый день. Он заедет за вами в шесть часов тридцать минут утра и доставит вас сюда в тот же час вечера. Если будет благоприятствовать погода. Разрешение мною уже дано. Благодарите господина Майера.

Остолбенев от счастья и от священности места, робко, — я,

почему-то, басом, а Ася писком, — благодарим. Молчание. Герр Майер, не менее нас подавленный священностью места, а может быть, и сдавленный несвойственным воротником, глядит себе на ноги, действительно неузнаваемые в новых башмаках.

Мне почему-то кажется, что ему страшно хочется нам подмигнуть. Никто не садится. Выходя, Ася все-таки догадывается и осмеливается осведомиться: вырос ли Карл и докуда теперь отцу.

———

Пустой дортуар. Мария только что привернула лампу. Завтра! Под вйками — сначала круто восходящее шоссе, потом, с которого-то поворота, более знаемый, чем видимый, вросший в свою двойную ивовую оправу, любимый, холодный, ундинин полупоток, полуручей Борербах, в который нам, из-за ледяной его воды, всегда запрещали входить и в котором мы, однажды, целиком, в платье… А дальше — распятье на повороте, а дальше с шоссе влево, а дальше — уже совсем близка — из-за сливовой и яблонной зелени, сначала гастхауз,[77] а потом и сам Ангел, толстый, с крыльями, говорят — очень старый, но по виду совсем молодой, куда моложе нас! — совсем трехлетний, круглый любимый ангел над входом в дом, из которого нам навстречу фрау Виртин, а главное — Марилэ и Карл, главное, для меня, — Марилэ, для Аси — Карл.

— Завтра! — В шесть часов тридцать минут. — Если будет хорошая погода.

———

Первый взгляд — в окно. Собственно, два первых взгляда В окно и на часы. Застегиваю на Асе шесть наспинных пуговиц ее лифчика. Но как же с платьями? В будничном нельзя — Пасха, а в праздничном — ни на дерево, ни под дерево.

— Я, как приеду, переоденусь в старое Марилино.

— А я? (Ася, обиженно.) Мне Марилино будет до полу!

— А ты — в Карловы панталоны! (И, видя, что она уже плачет:) А ты в Марилину кофточку, она тебе как раз будет до колен. А рукава завернем!

Звонок к завтраку — для нас одних. Начальницы спят. Завтракаем одни с Марией. Завтрак, как всегда, овсяный кофе без сахара (который весь пансион целиком, «добровольно» и раз навсегда, кажется, в день своего основания, уступил «бедным детям») и хлеб без масла, но зато с каким-то красным тошным растительным клеем, который ест без отвращения и, когда удается, за всех, то есть слизывает у всех, только вечно голодная, несчастная, всеядная, на редкость прожорливая бразилианка Анита Яутц.

— Ах, фрейлейн Ассиа, вы опять заклеили всю клеенку! Давайте я за вас доем, а то только четверть часа осталось.

———

Половина седьмого. Без четверти семь. Семь. Погода не чудная, погода, собственно, средняя, все небо в тучах, но, во всяком случае, дождя нет. Еще нет. Половина восьмого. Он, конечно, задержался на рынке и сейчас, сейчас будет. И не может же герр Майер, мужчина, эти несколько капель считать за дождь! Капли учащаются, сначала струи, потом потоки. В восемь часов явление младшей начальницы, фрейлейн Энни.

— Дети, через полчаса будьте готовы в церковь. Герр Майер теперь, конечно, уже не приедет.

В восемь часов пятнадцать минут звонок к мытью калош. Звонят для нас одних.

———

О чем говорит проповедник? Ася, самая младшая из всего пансиона и всегда засыпающая от проповеди, нынче в первый раз не спит. Не спит, а тихо и крупно плачет. Но хуже, чем «не приехал», другая мысль: «А вдруг приехал? И, не застав, уехал? Нынче ведь пасхальное воскресенье, весь город подымется в „Ангела“, герр Майер ведь с провизией, он не может ждать».

На обратном пути фрейлейн Энни мне:

— Почему же ты ничего не говоришь, Руссенкинд? Ассиа хоть плачет. Разве тебе не хотелось к твоим друзьям, на высоту?

— Ах, я всегда знаю, я заранее знала. Это было бы слишком прекрасно!

И внезапно, вместо слез, разражаюсь знаменитым двустишием:

Behüt Dich Gott, es war zu schön gewesen!
Behüt Dich Gott, es hat nicht sollen sein![78]

— Я радуюсь твоему поэтолюбию, Марина, но знать Шеффеля тебе все-таки еще рано.

— Я не читала, это мама всегда поет!

———

После обычного воскресного завтрака: «красного зверя», как мы его, не зная, называем, и ревенного компота, — моем, по отдельному звонку (звонят для нас одних), в пустом дортуаре руки. А небо, проплакавшись, чудное!

Запыхавшаяся Мария:

— Руссенкиндер, фрейлейн велят вам поскорее одеваться во все лучшее.

— Мы и так в лучшем.

— А кружевных воротников у вас нет?

— Нет.

Мария сияет:

— У меня есть. И я вам их одолжу, потому что… мне тоже здесь плохо!

Бежит и возвращается с двумя: огромной гипюровой пелериной с вавилонами, спускающимися ниже пояса, — ни дать ни взять гигантская морская звезда, в середину которой просунули бы голову, — с гипюровой звездой для меня, с самовязанной для Аси. Мне моя — до живота, Асина ей — до колен.

— Теперь вы красивые, как ангелочки!

(Ах, Ангел, Ангел!)

…Гулять. Гулять одним с фрейлейн Энни — на тот же Шлоссберг, — да еще в воскресных платьях, — в которых никуда и ничего… На только нас двух — целая фрейлейн Энни…

Облачася, я — во всеместно меня выталкивающий, Ася — в излишне просторный, как-то отдельно от нее живущий, — жакеты, шагом нерадующихся детей и теней спускаемся.

Экипаж, даже ландо. Ландо, во всей глубине слова и во всем блеске явления. Глубокое лакированное ландо, запряженное двумя шоколадными, такими же лоснящимися, лошадями. В глубине обе фрейлейн, в чем-то черном, стеклярусном, непроницаемом, торжественно-погребальном, в черных шляпах с лиловыми букетами и с букетами ландышей в руках.

— Садитесь же, дети!..

Робко ставим ногу на подножку.

— Садись, ты, Марина, как старшая, против меня, а ты, Ассиа, как младшая, против фрейлейн Энни.

(Что лучше: рачьи, лягушачьи, огромные, немигающие глаза фрейлейн Паулы или болонкины, из-под болонкиных же кудельков, непрерывно мигающие красновато-голубые фрейлейн Энни?)

Ландо, в полном молчании, отплывает.

———

Сначала старые дома, потом счастливые дома, глядящие в поля. Счастливые поля… Потом еловые холмы, встающие вдали, идущие вблизи… Шварцвальдские холмы…

Куда? А вдруг (безумная мечта), а вдруг — туда, в «Ангел»? Но дорога не та, та вверх, эта ровная. И ворота не те, те с Георгием, эти — с Мартином… Но если не туда, — куда? Может быть, никуда? Просто прогулка?

— Как же вы не спросите, Руссенкиндер, куда мы едем и откуда эти лошади?

— Взрослых спрашивать нельзя (Ася).

— Лучше, наверное, не знать (я).

— Похвальная воспитанность (Асе). Опасная мечтательность (мне). Мы едем… — И вдруг в мое ухо ударяет созвучие: Тур-унд-Таксис. И молниеносное видение башни в плюще. Ныне, впервые, над этим задумавшись, понимаю: Thurn, принятая мою за Turm, [79] — давало французскую tour (башню), а Taxis, по созвучию с растительным Taxus, точного значения которого я тогда не знала (тисовое дерево, тис), давало плющ. Тур-унд-Таксис. Башня в плюще.

———

Башни не оказалось никакой. Оказался белый дом с террасой и с темными, как всегда днем, ночными глубокими глазами окон, так похожими на те, которыми глядит на нас, вся каштановая, вся каряя, такая же кареокая, как сопутствующая ей собака, и с таким же каштановыми насечками, — поднявшаяся с террасы и коричневым облаком на нас спустившаяся молодая женщина, не похожая ни на одну.

— Я вам сердечно благодарна, что захватили с собой детей. Одни в пансионе, на Пасху? Бедные существа! Как их зовут? Марина? Азиа? Какие красивые имена, совсем по-итальянски. Вы говорите, Руссенкиндер. Но старшая, для ее лет, еще и Ризенкинд! (Великанское дитя.)

У этой женщины чудесный, за сердце берущий, певучий голос, тоже такой же каштановый. («Вчера я слушала виолончель, она звучала совсем как твои карие глаза». Так старая мать Гёте пишет молодой Беттине.)

— Ты рада, Азиа, что приехала сюда?

— Да, либе фрау. (Милая дама, означающее еще и Богородица.)

— Нельзя говорить «либе фрау», нужно говорить «фрау фюрстин» (княгиня), — замечает фрейлейн Паула.

— Ради Бога! Разве можно детей, да еще такого ребенка, переучивать! (И, спохватившись:) Конечно, милые Азиа и Марина, вы во всем всегда должны слушаться фрейлейн Паула, но сегодня мы все вместе, — и Марина, и Азиа, и я…

— И Тирас, — вставляет Ася.

— Само собой разумеется, и Тирас, будем просить ее о снисхождении ко всем нашим маленьким вольностям и погрешностям, потому что мы с Тирасом ведь тоже и не меньше вашего, дети, ошибаемся. Не правда ли, Тирас?

Тирас. Шоколадный, но не красный, не лохматый, если и сеттер, не ирландский. Глаза, при ближайшем рассмотрении, зеленоватые, но взгляд — хозяйкин. Смущенные новизной места и сосредоточенностью на нас старших, пока что еще робко, как бы равнодушно, пса поглаживаем, зная, что в свой час, когда взрослые заговорятся, наверстаем.

Чай неописуем. Для того чтобы живописать его, нужно было бы живописать ведь предшествующий шестимесячный пансионский голод и, что для детей, может быть хуже голода, всю неописуемую скуку того спартанского меню: мучной суп, чечевица, ревень; гороховый суп, картошка, ревень. Ревень, ревень, без смены. Очевидно, потому что рос в саду, а варился без сахару. Ну и лют же должен был быть голод и жестока скука, чтобы две вовсе не прожорливые и менее всего кровожадные девочки часами мечтали, как они когда-нибудь руками изловят и на лампе изжарят нежных, волшебных, голубопятнистых, скользящих в садовом ручье «Эннинespecially» форелей, которые, со слов фрейлейн Энни, еще вдобавок понимают музыку.

Оставим неописуемый чай, который, кстати, оказался чистокровным, в неограниченном количестве, шоколадом, с таким же и в таком же неограниченном количестве не предложенным, а на тарелки положенным зандкухеном.[80] Скажем только, что желудки были так же счастливы, как глаза, как уши, а уши, как души.

Впрочем, уши что-то начинают смущаться. Некоторых вещей не знаю, некоторых не узнаю. Мой отец, по словам фрейлейн Паула, знаменитый архитектор, который строит уже второй в Москве музей (первый, очевидно, Румянцевский!), наша мать —

знаменитая пианистка (никогда не выступала публично), я — необычайно одарена, «geistreich» (а арифметика? а рукоделие?), Ася необычайно «liebreich» (любвеобильна). Я настолько «geistreich» и «frьhreif» (раннего развития), что уже печатаюсь в русских детских журналах (получаю «Друг детей» и «Родник»), а Ася настолько любвеобильна, что после каждой еды приходит к ней, фрейлейн Паула, «делать кошечку», то есть ласться. (Салфеток ученицам не полагается, и Ася, еще не умеющая обходиться без, совершенно сознательно после каждой трапезы вытирает рот, щеки и руки, то есть горох, сало и ревень, о верх все того же черного платья невинной, умиленной фрейлейн Паула. И все это знают, кроме ласкаемой. И все, с наслаждением мести, ждут.)

— Все им могу простить… если бы они что-нибудь сделали!.. За голос, которым они, завидев на улице собаку, говорят: «Ein Hu — und!»

В это время мы, и гейстрейх, и либрейх, уже лежим с собакой на полу и предаемся упоенному и деловитому нацеловыванию ее, Ася в одну щеку, я в другую, каждая в свой собачий профиль.

— Лучше не целовать в морду, — как-то неубежденно замечает хозяйка, — говорят, что у них…

— У них ничего нет! — горячо возражаю я. — Мы всю жизнь целуем!

— Всю жизнь? — переспрашивает Тур-унд-Таксис. — Всю вашу долгую, долгую жизнь? Значит, у них, действительно, ничего нет.

И опять в ушах ровная пряжа Паулиного нахваливания: отец — то-то… Мать — то-то… Младшая без слез не может видеть букашки… (Ложь!) Старшая знает наизусть всю французскую поэзию… Пусть фрау фюрстин сама проверит…

— Скажи мне, кинд, свое любимое, из всех любимое стихотворение!

И вот уже мои уши физически привстают от звука моего собственного голоса, уже плывущего по волнам великолепной оды Гюго «Наполеон II».

— Скажи мне, Марина, какое твое самое большое желание?

— Увидеть Наполеона.

— Ну, а еще?

— Чтобы мы, чтобы русские разбили японцев. Всю Японию!

— Ну, а третьего, не такого исторического, у тебя нет?

— Есть.

— Какое же?

— Книжка, «Heidi».

— Что это за книжка?

— Как девочка опять вернулась в горы. Ее отвезли служить, а она не могла. Опять к себе, «auf die Alm» (альпийское пастбище). У них были козы. У них, значит, у нее и у дедушки. Они жили совсем одни. К ним никто не приходил. Эту книгу написала Иоганна Спири. Писательница.

— А ты, Азиа? Каковы твои желания?

Ася, скоропалительно:

— Выйти замуж за Эдисона. Это первое. Потом, чтобы у меня был «ascenseur»,[81] только не в доме, без дома, в саду…

— Ну, а третье?

— Третьего я вам не могу сказать. (Взгляд на фрейлейн Паула.) Совсем не могу сказать!

— Дитя, дитя, не стесняйся! Ты же ничего плохого не можешь пожелать?

— Это не плохое, это… неудобное, неприличное. (Испуганное лицо фрейлейн Паула.) Оно начинается на W. Нет, не то, что вы думаете! — И вдруг, привстав на цыпочки и обняв за шею испуганную и улыбающуюся фрау фюрстин, — громким шепотом: — Weg! (Вон!) Вон из пансиона!

Но обе не слышали, должно быть, не услышали, ибо одновременно и очень горячо заговорили, — о чем-то совсем другом, о Pfingstferien (каникулы Троицына дня), куда поедет пансион и поедет ли.

———

Как хорошо сидеть спиной к лошади, когда прощаешься! Вместо лошадей, которые непоправимо везут и неизбежно доставят нас туда, куда не хочется, в глазах то, откуда не хочется, те, от кого… Бесстрашно и бессовестно минуя взглядом: Ася — фрейлейн Энни, я — фрейлейн Паула, глядим меж их шляп, поверх их голов, — Ася, сначала привставшая, стойком стоит, — на белый дом в темном меху хвои, дослушиваем последние «лайки» Тираса, вместо предполагаемой прогулки увлекаемого хозяйкой в дом и с которым мы бы так охотно поменялись, — не только местом! Внутри, глубже слуха, внутренним слухом любимый — хранимый — длинный, неотразимый голос:

— Gott behьt Euch, liebe Fremdenkinder! (Храни вас Бог, милые чужие дети!)

———

Неделю спустя, когда белый дом уже окончательно ушел в хвою, ели окончательно сомкнулись, голос окончательно ушел в глубину, фрейлейн Паула в той же зеленой комнате вручила нам с Асей по пакету. В том, с надписью «Марина», оказалась книжка «Heidi» и другая «Was wird aus ihr werden» («Что-то с нею будет?»), с над «ihr» красивым наклонным почерком: «dir» (тобой), а после «werden» — «Liebe Marina?». (Что-то с тобою будет, дорогая Марина?) В том, с надписью «Азиа», — коробка с кубиками, из которых можно построить не только лифт, но целый Нью-Йорк, тот Нью-Йорк, где будет праздноваться ее свадьба с Эдисоном.

———

Дуинские «Элегии» Рильке. Тур-унд-Таксис. Башня в плюще.

1933

СКАЗКА МАТЕРИ

— Мама, кого ты больше любишь: меня или Мусю? Нет, не говори, что все равно, все равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-уточку больше, другого не меньше, но этого чу-уточку больше! Даю тебе честное слово, что я не обижусь (с победоносным взглядом на меня), — если — Мусю.

Всё, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное, я отлично знали — кого, и она только ждала убийственного для меня слова, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя и знала, что не дождусь.

— Кого — больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? — с явным замешательством (и явно оттягивая) — мать. — Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо…

— Да, — неуверенно и разочарованно Ася, проглотив уже мой победоносный взгляд. — А все-таки — кого? Ну, хоть чу-уточку, капельку, крошечку, точечку — больше?

— Жила-была мать, у нее были две дочки…

— Муся и я! — быстро перебила Ася. — Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася… Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла… и она, как мама, умела свертывать язык трубочкой, а Муся не умела, и вообще она была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тюрная…

— Да, — подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях например, — две дочери, старшая и младшая.

— А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая и потом вышла замуж за генерала. Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, — возбужденно продолжала Ася, — а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

— Да, — подтвердила мать.

— А младшая потом еще вышла замуж за князя и за графа, и у нее было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик — одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая — в это время — так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку, и вот раз младшая едет в ландо и видит: такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кость, и — она была очень, очень добра! — ее пожалела: «Садись, собачка, в экипаж!», а та (с ненавистным на меня взглядом) — сразу влезла — и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у нее глаза не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые, особенно — и вдруг узнала, что это ее старшая, старая сестра, и разом выкинула ее из экипажа — и та разбилась на четыре части вдребезги!

— Да, — снова подтвердила мать. — Отца у них не было, только мать.

— А отец умер — от диабета? Потому что слишком много ел сахару, да и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбиров, шоколадов, ирисов и таких серебряных конфет со щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведет в могилу!

— При чем Захарьин, — внезапно очнулась мать, — это было давно, когда еще никакого Захарьина не было, и вообще никаких докторов.

— А слепая кишка была? Ап-пен-ди-цит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее все сыплется: разные кости, и рыбьи хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти… Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у нее не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, все чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать и за это меня страшно ущипнула!

— Врешь! — от негодования и изумления прохрипела я. Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала мой карандаш, с «Муся» чернилом.

— Ма-ама! — заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меняя рейс. — А когда человек сказал да, а во рту — нет, то что

же он сказал? Он ведь два сказал, да, мама? Он пополам сказал? Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет?

— Кто куда пойдет? — спросила мать.

— В ад или в рай? Человек. Наполовину враный. В рай?

— Гм… — задумалась мать. — У нас — не знаю. У католиков на это есть чистилище.

— Я знаю! — торжествующе Ася. — Чистильщик Дик, который маленькому Лорду подарил красный футляр с подковами и лошадиными головами.

— И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала…

— А я знаю! — я, молниеносно. — Разбойник, это враг этой дамы, этой дамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, потому что он был очень злой, захотел еще убить одну из девочек, сначала двух…

— Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

— Сначала двух, но Бог ему запретил, тогда — одну…

— И я знаю какую! — Ася.

— Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно какую, и он только хотел сделать неприятность той даме — потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

— Может быть, — сказала мать, прислушиваясь, — но я этого и сама не знала.

— Потому что он был в нее влюблен! — торжествовала я, и уже безудержно: — И ему лучше было ее видеть в могиле, чем…

— Какие африканские страсти! — сказала мать. — Откуда это у тебя?

— Из Пушкина. Но я другому отдана, но буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из «Цыган».

— А по-моему, из «Курьера», который я тебе запретила читать.

— Нет, мама, в «Курьере» — совсем другое. В «Курьере» были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

— Мама, что такое молочная сестра? — спросила присмиревшая, подавленная моим превосходством Ася.

— Дочь кормилицы.

— А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

— Вот.

— Фу! — сказала Ася.

— А она, Ася, мама, не моя, правда, мама?

— Не твоя, — подтвердила мать. — Потому что Асю кормила я, а тебя — кормилица. Твоя молочная сестра — дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы — был сын. Она была цыганка и очень злая и страшно жадная, до того жадная, что, когда дедушка ей однажды вместо золотых серег подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в паркет, что потом ничего не могли найти.

— А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? — спросила Ася.

— Ни одной, — ответила мать, — их мать кормила сама, потому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: «Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех сразу». — «Нет, — сказал разбойник, — я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтобы ты вечно мучилась, что эту — выбрала, а ту… Ну, которую же?» — «Нет, — сказала мать. — Скорей ты умрешь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я — сама осужу одну из моих дочерей на смерть».

— А кого, мама, она все-таки больше жалела? — не вытерпела Ася. — Потому что одна была болезненная… плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило…

— Да! А когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку… и вообще под ее стулом всегда была помойка, — я, с ненавистью.

— Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: «Ну ррради Бога, еще один кусочек: открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек!» Значит, мама ее — больше любила!

— Может быть… — честно сказала мать, — то есть больше — жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

— Мама, не забудь про аппендицит! — взволнованно, Ася. — Потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, — тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит — и она бы, наверное, умерла — но ночью приехал доктор Ярхо — из Москвы — и даже без шапки и без зонтика, — а шел даже град! — и он был совершенно мокрый. Это — правда — мама, святой человек?

— Святой, — убежденно сказала мать, — я святее не встречала. И притом — совершенно больной, и мог бы тогда простудиться, ведь какая гроза! И еще, бедный, тогда так упал перед самой дачей…

— Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор — да? А когда доктор заболеет — кто его спасет?

Просто — Бог?

— Всегда — Бог. И тогда тебя — Бог. Через доктора Ярхо.

— Мама, — я, устав слушать про Асю, — а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот — пузо? «Что, Муся, опять пузо болит?» Ведь это неприлично?

— Непривычно, — сказала мать. — Может быть, его в детстве так научили?.. Конечно, странно. Но с таким сердцем и всё

позволено. И не то позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здравие свечу.

— Мама, а что же те девочки, так и остались незарезанные? — после долгого общего молчания спросила Ася. — Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он тбк — ушел?

— Не ушел, — сказала мать. — Не ушел, а сказал ей следующее:

«Зажжем в церкви две свечи, одна будет…»

— Муся! А другая — Ася!

— Нет, имен в этой сказке нет. «…левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и…» Ну, вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых…

— Мама! Одинаковых не бывает. Одна была все-таки чу-уточку, кро-охотку…

— Нет, Ася, — уже строго сказала мать, — я тебе говорю, совершенно одинаковые. «Сама зажигай», — сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла. И свечи стали гореть — ровно-ровно и даже как будто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи все горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи — как два близнеца. Бог их знает, сколько еще времени будут гореть. Тогда разбойник сказал: «Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придем сюда. Кто первый придет — другого будет ждать».

Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

— А разбойник, мама, конечно, раньше прибежал? — Ася.

— Погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже — с двух разных сторон — разбойник слева, мать справа — потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла — и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду к церкви — а против церкви — солнце вставало! — разбойник и мать. Открывают замок, входят в

церковь, и —

— Одна свечка совсем сгорела: че-ерная! А другая еще чуточку… — взволнованно, Ася.

— Две черные, — трезво я. — Потому что, конечно, за целую ночь обе-две сгорели, но так как никто не видел, — то все опять сначала.

— Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, нисколько не сгорев, ни на столечко не сгорев… Как вчера поставили — так и стояли. И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли — неизвестно, но когда она опомнилась — разбойника не было — как и куда ушел — неизвестно. Не дождались его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и…

— Мама! Это был — разбойник! — закричала я. — Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога! Только — ужасно жаль.

— Что — жаль? — спросила мать.

— Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, — поплелся — ни с чем! — она, конечно… я бы, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нем женилась.

— Вышла бы за него замуж, — поправила мать. — Женятся — мужчины.

— Потому что она его и вперед любила, только она уже была замужем, как Татьяна.

— Да, но ты совершенно забыла, что он убил ее мужа, — сказала мать взволнованно, — разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей…

— Нет — сказала я. — Ей бы по ночам было бы очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой. И всякие звуки бы начались. И, может быть, дети бы заболели… Тогда, мама, я бы сама стала отшельником и поселилась в канаве…

— А дети? — спросила мать глубуко-глубуко. — Разве можно бросить детей?

— Ну, тогда, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку!

1934

МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА III

«Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в то же время отходила одна московская старушка. И, слушая колокола, сказала: „Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя“. Состояние было небольшое: всего только двадцать тысяч. С этих-то двадцати старушкиных тысяч и начался музей». Вот в точности, слово в слово, постоянно, с детства мною слышанный рассказ моего отца, Ивана Владимировича Цветаева, о происхождении Музея изящных искусств имени императора Александра III.

Но мечта о музее началась раньше, намного раньше, в те времена, когда мой отец, сын бедного сельского священника села Талицы, Шуйского уезда, Владимирской губернии, откомандированный Киевским университетом за границу, двадцатишестилетним филологом впервые вступил ногой на римский камень. Но я ошибаюсь: в эту секунду создалось решение к бытию такого музея, мечта о музее началась, конечно, до Рима — еще в разливанных садах Киева, а может быть, еще и в глухих Талицах, Шуйского уезда, где он за лучиной изучал латынь и греческий. «Вот бы глазами взглянуть!» Позже же, узрев: «Вот бы другие (такие же, как он, босоногие и „лучинные“) могли глазами взглянуть!»

Мечта о русском музее скульптуры была, могу смело сказать, с отцом сорожденная. Год рождения моего отца — 1846 г.

———

Город Таруса, Калужской губернии. Дача «Песочная». (Старый барский дом исчезнувшего имения, пошедший под «дачу».) Дача Песочная в двух верстах от Тарусы, совсем одна, в лесу, на высоком берегу Оки, — с такими березами… Осень. Последние — ярко и мелко-розовые, безымянные, с чудным запахом, узнаваемые потом везде и всегда, — цветочки в колеях. Папа и мама уехали на Урал за мрамором для музея. Малолетняя Ася — бонне: «Августа Ивановна, а что такое — музей?» — «Это такой дом, где будут разный рыб и змей, засушенный». — «Зачем?» — «Чтоб студент мог учить». И, радуясь будущей учености «студента», а может быть, просто пользуясь отсутствием родителей, неожиданно разражается ослепительным тирольским

«иодль». Пишем папе и маме письма, пишу — я, неграмотная Ася рисует музеи и Уралы, на каждом Урале — по музею. «А вот еще Урал, а вот еще Урал, а вот еще Урал», — и, заведя от рвения язык почти за край щеки: «А вот еще музей, а вот еще музей, а вот еще музей…» Я же, с тоже высунутым языком, честно и мощно вывожу: «Нашли ли мрамор для музея и крепкий ли? У нас в Тарусе тоже есть мрамор, только не крепкий…» Мысленно же: «Нашли ли для нас кота — и уральский ли? У нас в Тарусе тоже есть коты, только не уральские». Но написать, по кодексу нашего дома, не решаюсь.

В одно прекрасное утро вся дача Песочная заполняется кусками разноцветного камня: голубого, розового, лилового, с ручьями и реками, с целыми видами… Есть один — как ломоть ростбифа, а вот этот, пузырчатый, точно синий вскипевший кофе. На большой правильный квадрат белого, чуть серого, чуть мерцающего камня мы даже и не смотрим. Это-то и есть мрамор для музея. Но уральского кота, обещанного, родители не привезли.

———

Одно из первых моих впечатлений о музее — закладка. Слово — закладка, вошедшее в нашу жизнь, как многие другие слова, и утвердившееся в ней самостоятельно, вне смыслового наполнения, либо с иносмысловым. Мама и Лёра шьют платья к закладке. Дедушка приедет на закладку из Карлсбада. Дай Бог, чтобы в день закладки была хорошая погода. На закладке будет государь и обе государыни. В конце концов, кто-то из нас (не я, всегда отличавшаяся обратным любознательности, то есть абсолютным фатализмом): «Мама, а что такое закладка?» — «Будет молебен, потом государь положит под камень монету, и музей будет заложен». — «А зачем монету?» — «На счастье». — «А потом ее опять возьмет?» — «Нет, оставит». — «Зачем?» — «Отстань». (Монету — под камень. Так мы в Тарусе хоронили птиц, заеденных Васькой. Сверху — крестик.) На закладку нас, конечно, не взяли, но день был сияющий, мама и Лёра поехали нарядные, и государь положил монету. Музей был заложен. Отец же три дня подряд напевал свой единственный за жизнь мотив: три первых такта какой-то арии Верди.

———

Первое мое видение музея — леса. По лесам, — как птицы по

жердям, как козы по уступам, в полной свободе, высоте, пустоте, в полном сне… «Да не скачи же ты так! Осторожней, коза!» Эту «козу» прошу запомнить, ибо она промелькнула и в моем последнем видении музея.

Мы с Асей впереди, взрослые — отец, мать, архитектор Клейн, еще какие-то господа — следом. Спокойно-радостный повествующий голос отца: «Здесь будет это, тут встанет то-то, отсюда — туда-то…» (Это «то-то», «туда-то» — где это отец все видит? А как ясно видит, даже рукой показывает!) Внизу, сквозь переплеты перекладин — черная земля, вверху, сквозь те же переплеты — голубое небо. Кажется, отсюда так легко упасть наверх, как вниз. Музейные леса. Мой первый отрыв от земли.

———

А вот другое видение. Во дворе будущего музея, в самый мороз, веселые черноокие люди перекатывают огромные, выше себя ростом, квадраты мрамора, похожие на гигантские куски сахара, под раскатистую речь, сплошь на р, крупную и громкую, как тот же мрамор. «А это итальянцы, они приехали из Италии, чтобы строить музей. Скажи им: „Buon giorno, come sta?“[82] В ответ на привет — зубы, белей всех Сахаров и мраморов, в живой оправе благодарнейшей из улыбок. Годы (хочется сказать столетия) спустя, читая на листке почтовой бумаги посвященную мне О. Мандельштамом „Флоренцию в Москве“ — я не вспомнила, а увидела тех итальянских каменщиков на Волхонке.

———

Слово „музей“ мы, дети, неизменно слышали в окружении имен: великий князь Сергей Александрович, Нечаев-Мальцев, Роман Иванович Клейн и еще Гусев-Хрустальный. Первое понятно, ибо великий князь был покровителем искусств, архитектор Клейн понятно тоже (он же строил Драгомиловский мост через Москва-реку), но Нечаева-Мальцева и Гусева-Хрустального нужно объяснить. Нечаев-Мальцев был крупнейший хрусталезаводчик в городе Гусеве, потому и ставшем Хрустальным. Не знаю почему, по непосредственной ли любви к искусству или просто „для души“ и даже для ее спасения (сознание неправды денег в русской душе невытравимо), — во всяком случае, под неустанным и страстным воздействием моего отца (можно сказать, что отец Мальцева обрабатывал, как те итальянцы — мрамор) Нечаев-Мальцев стал главным, широко

говоря — единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец — духовным. (Даже такая шутка по Москве ходила: „Цветаев-Мальцев“.)

Нечаев-Мальцев в Москве не жил, и мы в раннем детстве его никогда не видели, зато постоянно слышали. Для нас Нечаев-Мальцев был почти что обиходом. „Телеграмма от Нечаева-Мальцева“. „Завтракать с Нечаевым-Мальцевым“. — „Ехать к Нечаеву-Мальцеву в Петербург“. Почти что обиходом и немножко канитферштаном, которого, прибавлю в скобках, ни один ребенок, к чести детства, не понимает в его настоящем юмористическом смысле, то есть именно в самом настоящем: человеческом (бедный, бедный Канитферштан!).

— Что мне делать с Нечаевым-Мальцевым? — жаловался отец матери после каждого из таких завтраков, — опять всякие пулярды и устрицы… Да я устриц в рот не беру, не говоря уже о всяких шабли. Ну, зачем мне, сыну сельского священника — устрицы? А заставляет, злодей, заставляет! „Нет уж, голубчик вы мой, соблаговолите!“ Он, может быть, думает, что я — стесняюсь, что ли? Да какое стесняюсь, когда сердце разрывается от жалости: ведь на эту сторублевку — что можно для музея сделать! Из-за каждой дверной задвижки торгуется — что, да зачем — а на чрево свое, на этих негодных устриц ста рублей не жалеет. Выкинутые деньги! Что бы мне — на музей! И завтра с ним завтракать, и послезавтра, так на целые пять сотен и назавтракаем. Хоть бы мне мою долю на руки выдал! Ведь самое обидное, что я сам музей объедаю…

С течением времени принципом моего отца с Нечаевым-Мальцевым стало — ставить его перед готовым фактом, то есть счетом. Расчет был верный: счет — надо платить, предложение — нужно отказывать. Счет для делового человека — судьба. Счет — рок. Просьба — полная свобода воли и даже простор своеволию. Все расстояние от: „Нельзя же не“ до: „Раз можно не“. Это мой отец, самый непрактичный из неделовых людей, учел. Так Нечаев-Мальцев кормил моего отца трюфелями, а отец Нечаева-Мальцева — счетами. И всегда к концу завтрака, под то самое насильное шабли. „Человек ему — свой счет, а я свой, свои…“ — „И что же?“ — „Ничего. Только помычал“. Но когда мой отец, увлекшись и забывшись, события (конец завтрака и свершившийся факт заказа) опережал: „А хорошо бы нам, Юрий Степанович, выписать из-за границы…“ — настороженный жертвователь, не дав договорить: „Не могу. Разорен. Рабочие… Что вы меня — вконец

разорить хотите? Да это же какая-то прорва, наконец! Пусть государь дает, его же родителя — имени…“ И чем меньше предполагалась затрата — тем окончательнее отказывался жертвователь. Так, некоторых пустяков он по старческому и миллионщикову упорству не утвердил никогда. Но когда в 1905 году его заводы стали, тем нанося ему несметные убытки, он ни рубля не урезал у музея. Нечаев-Мальцев на музей дал три миллиона, покойный государь триста тысяч. Эти цифры помню достоверно. Музей Александра III есть четырнадцатилетний бессребреный труд моего отца и три мальцевских, таких же бессребреных миллиона. Где те пуды цветаевско-мальцевской переписки, которую отец, чтобы дать заработать, дал одной из своих племянниц, круглолицей поповне и курсистке Тоне, переписывать от руки в огромный фолиант, который бедная Тоня, сопя и корпя и ничего не понимая (была медичка!), тоскливо называла „моя плешь“? Помню, что за трехмесячную работу девушка получила тридцать рублей. Таковы были цены. Но такова еще была особая — музейная! — бережливость отца. „И тридцать рублей заработает, и, по крайней мере, знать будет, что такое музей и как он строится. Лучше — чем с подружками чаи распивать!“

Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать, Мария Александровна Цветаева, рожденная Мейн. Она вела всю его обширную иностранную переписку и, часто, заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки или лести (с французом), строкой из поэта (с англичанином), каким-нибудь вопросом о детях и саде (с немцем) — той человеческой нотой в деловом письме, личной — в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар — ничто. И, говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности, вхождения во все и выхождения из всего — победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, а когда нужно, и за него. Так, от дверных ручек упирающегося жертвователя до завитков колонн, музей — весь стоит на женском участии. Это я, детский свидетель тех лет, должна сказать, ибо за меня этого не скажет (ибо так глубоко не знает) — никто. Когда она в 1902 году заболела туберкулезом и выехала с младшими детьми за границу, ее участие не только не ослабло, но еще усугубилось — всей силой

тоски. Из Москвы то в генуэзское Нерви, то в Лозанну, то во Фрейбург шли подробные отчеты о каждом вершковом приросте ширящегося и высящегося музея. (Так родители, радуясь, отмечают рост ребенка на двери и в дневнике.) И такие же из Нерви, Лозанны и т. д. любовные опросные листы. Когда дозволяло здоровье, верней болезнь, она, по поручению отца, ездила по старым городкам Германии, с которой был особенно связан мой отец, выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок и улыбок. (А у делового немца добиться улыбки…) Не забывали и мы с Асей нашего гигантского младшего брата. В каждом письме — то из Лозанны, то из Фрейбурга, после описания какого-нибудь tour du lac[83] или восхождения на очередной шварцвальдский холм, приписка, сначала, по малолетству, совсем глупая: „Как Васька? Как музей?“ — но со временем и более просвещенные. К одиннадцати годам и я втянулась в работу, а именно, когда мы все съезжались, писала отцу его немецкие письма. (Отец языки знал отлично, но, как самоучка, и пиша и говоря, именно переводил с русского. Кроме итальянского, который знал как родной и на котором долгие годы молодости читал в Болонском университете.) Как сейчас помню „Hildesheimer Silberfund“[84] и „Professor Freu“. Зато какое сияние гордости, когда в ответном письме за таким-то № в конце приписка: „Grьssen Sie mir ihr liebenswuerdiges und pflichttreues Tцchterlein“.[85]

Немецкую переписку отца я вела до самой его кончины (1913 г.).

Теперь расскажу о страшном его и матери, всех нас, горе, когда зимой 1904–1905 года сгорела часть коллекций музея (очевидно, та деревянная скульптура, которую и заказывали в Германии). Мне кажется, это было на Рождество, потому что отец был с нами во Фрейбурге. Телеграмма. Отец молча передает матери. Помню ее задохнувшийся, захлебнувшийся голос, без слов, кажется: „А-ах!“ И отцовское — она тогда была уже очень больна — умиротворяющее, смиренное, бесконечно-разбитое: „Ничего. Даст Бог. Как-нибудь“. (Телеграмма, сгоряча, была: музей горит.) И его безмолвные слезы, от которых мы с Асей, никогда не видевшие его плачущим, в каком-то ужасе отвернулись.

Мать до последней секунды помнила музей и, умирая, последним голосом, из последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и ее!) детища. Думаю, что не

одних нас, выросшими, видела она предсмертным оком.

Говоря о матери, не могу не упомянуть ее отца, моего деда, Александра Даниловича Мейна, еще до старушкиных тысяч, до клейновского плана, до всякой зримости и осязаемости, в отцовскую мечту — поверившего, его в ней, уже совсем больным, неустанно поддерживавшего и оставившего на музей часть своего состояния. Так что спокойно могу сказать, что по-настоящему заложен был музей в доме моего деда, А. Д. Мейна, в Неопалимовском переулке, на Москве-реке. Все они умерли, и я должна сказать.

Август 1933

ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК

(Памяти проф. И. В. Цветаева)

Года за два до открытия музея отцу предложили переехать на казенную директорскую квартиру, только что отстроенную. „Подумайте, Иван Владимирович, — соблазняла наша старая экономка Олимпиевна, — просторная, покойная, все комнаты в ряд, кухня тут же — и через двор носить не нужно, электричество и ламп наливать не нужно, и ванна — и в баню ходить не нужно — все под рукой… А этот — сдать…“ — „Сдать, сдать! — с неожиданным раздражением отозвался отец. — Я всю жизнь провел на высокой ноте! — И, уже самому себе, отъединенно: — В этом доме родились все мои дети… Сам тополя сажал… — И совсем уже тихо, почти неслышно, а для экономки и вовсе непонятно: Я на это дело положил четырнадцать лет жизни… Зачем мне электричество?! А квартиру отдать семейным служащим, как раз четыре квартирки выйдут, отличные… Две комнаты и по кухонке…“ — Так и было сделано.

В эту же весну отец из Германии привез от себя музею — очередной подарок: машинку для стрижки газона. — „А таможне не платил, ни-ни. Упаковал ее в ящичек, сверху заложил книжками и поставил в ноги. — А это что у вас здесь? — Это? — Греческие книжки. — Ну, видят — профессор, человек пожилой, одет скромно, врать не будет. Что такому и возить, как не греческие книжки! Не парфюмерию же. Так и провез без пошлины. Помилуйте! Да на пошлину вторую такую стрижку купить можно“. (Никогда не забуду, как он на самосеянном газоне перед музеем — первый — ревниво, почтительно, старательно и неумело, ее пробовал.) Думаю, что это был единственный за жизнь противозаконный поступок моего отца. Впрочем, он для музея был готов на несравненно — большее, во всяком случае — дольшее. Сидит он у какой-нибудь москворецкой купчихи, потягивает чаек и улещает: — „Таким-то образом, матушка, всем и радость, и польза будет. А что племянник? Племянник все равно промотает“. Старушка: — „Неужели?“ — „Как Бог свят — промотает. Пропьет или в карты пропустит“. Старушка, упавшим голосом: — „Пропустит“. Отец: — „А покойник их, небось, по полтиннику собирал. Племянник пусть сам наработает. Я ведь тоже в детстве босиком бегал…“ Помню, что таким способом, только на этот раз у старушки высокопоставленной, отец, в конце очень долгих концов, отстоял

для музея прекрасный подлинник: мраморную голову императора Тита, которая и поныне украшает музей.

Отношение к строящемуся музею было разное. Помню известного московского педагога Вахтерова, в 1909 году говорившего мне, тогда — гимназистке: — „Зачем музей? Сейчас нужны лаборатории, а не музеи, родильные дома, а не музеи, городские школы, а не музеи. Ничего! Пусть строят! Придет революция, и мы, вместо всех этих статуй, поставим койки. И парты. А что строят — ничего. Стены нам пригодятся“. В общем, интеллигенция и молодежь относились равнодушно, и отец в своем деле (как каждый любящий — в своем!) был одинок. Но он этого не замечал — или миновал. Зато, как же он радовался малейшему сочувствию, малейшему „музейному“ вопросу, как охотно сам путеводил — шестидесятипятилетний старик и безумно занятый человек — наших сверстников, мальчишек и девчонок, сам показывая и рассказывая, обстоятельно отвечая на самые наивные вопросы. Убеждена, что не более ревностно — раз от всей души, значит, больше нельзя! — он потом показывал музей верхам России. Разница между путеводимыми тонула, и даже сгорала, в неизменности вдохновения. Усилить это вдохновение могло только чужое вдохновение. Оно редко — везде.

Не могу не рассказать об одном его путевождении. Поступил к нам дворник, прямо из деревни, — семнадцати лет, круглолицый, кареглазый, с щеками пышущими, как те печи, которые он так жарко и с таким жаром топил, — по имени Алексей, и, действительно, Божий человек, даже Божие дитя: не пил, не курил, только спал. Зато — спал непробудно.

И вот, это самое „Божие дитя“, однажды, мне: — „Барышня, как бы мне посмотреть нашего барина заведение? Говорят, сам государь на освящение пожалует, так как бы мне уж заодно…“ За утренним чаем я, отцу: — „Папа, ты не можешь показать Алексею музей?“ — „С удовольствием. Кто такой Алексей?“ А это наш дворник. Он очень интересуется…» — «Гмм… навряд ли он… А впрочем, пусть посмотрит…» — За вечерним чаем того же дня: — «Водил, папа, Алексея?» — «А как же!» — «Ну, как?» — «Да видишь ли, как человек непросвещенный и даже придурковатый, он, завидев всех моих Гераклов и Венер, так застыдился и даже испугался, что, представь себе, всю дорогу шел слепой. Да, да, да. Закрылся локтем и таким манером прошел по всему музею. — Да ты, Алексей, гляди! Сейчас ничего такого нет! — Куда там!

Красный, как рак, взглянет на секунду из-под локтя и, как ошпаренный, опять зажмурится. Тут я его и отпустил». Утром Алексей приходит топить печку. — «Ну, что, Алексей, понравился тебе музей?» — «Здание хорошее». — «Почему же ты все время шел слепой?» — Алексей, шепотом: — «Женщины голые…» — На кухне же объяснялся вольнее: — «Конечно, барину видней, и медали у них все, а я человек деревенский, а все — чудно! На старости лет, а чем занялись! Баб голых понаставили да мужиков! Да еще освящать задумали… Да поп — увидит — как плюнет! Музей!»

За какой-то срок до открытия музея в доме прошел слух, что отцу «за музей» дают «почетного опекуна». Слух подтвердился, и начались разговоры о мундире. — «Шить настоящим золотом, — говорил отец сокрушенно, — и подумать страшно, во что это золото обойдется…» — «Ничего, папа, не поделаешь! Дали опекуна — давай мундир!» — «Я не против мундира, но есть мундир и мундир… Зачем мне, старому человеку, золото?» — «Папа, но это форма!» — «Знаю, знаю, но когда подумаешь, что на этот мундир такого же, как я когда-то, босоногого, — в Рим отправить можно… Семьсот целковых! (И, уже с улыбкой:) — Да весь опекун того не стоит!» — Мундир, конечно, был сшит. Был в нашем зале впервые надет и обозрен. Чудесный, древесный, весь в каких-то цветочках. — «Папа, не огорчайся! Ведь это же для музея!» (С доброй улыбкой, но все же со вздохом:) — «Вот, разве уж, для музея!» — Сшили отцу мундир, стали шить дочерям платья («дамы в белых городских, закрытых»). Нечего говорить, что отец за материей отправился сам, — в какой-то свой магазин, «к одному моему знакомцу, с которым я уже тридцать лет торгуюсь…» — «Материю нужно, прежде всего, прочную, — музей открывается раз, а белое платье всегда пригодится, а фасоном советую шить самым простым, две прямые полы, например, и схватить лентой, а сзади пустим клин». (В спасительность клина во всех дамских туалетах отец верил свято.) Шила нам наша вечная Олимпиевна, по призванию домашняя портниха. Нечего говорить, что отец на всех примерках присутствовал. — «Только не обтягивайте, Александра Олимпиевна, не обтягивайте! Материи за глаза, а Марина и так худая, — уж не знаю, с чего, — чтоб не вышло, как кость. Припустите, припустите!» — Олимпиевна же, во всем с отцом соглашаясь, под машинный шумок, шила по-своему, то есть по-нашему. Самое трогательное, что, когда отец увидел нас в готовом, то есть, по существу, для него неузнаваемом, он, гордясь и восхищаясь, свой покрой и клин узнал!

Поверят мне или нет, если скажу, что отец несколько вечеров до открытия музея, в нашей бывшей детской, сам, самолично, учил нас с Асей делать придворный реверанс?! — «Я сколько раз видал на приемах и отлично знаю. (Приподымая полы пиджака и приседая:) — Ногу за ногу, колено согнуть, в талии согнуться, застыть, — и… нет, уж, пожалуйста, без козьих скачков! — вот так. Конечно, ваша мама вам бы лучше показала…»

— «Говорила я вам, не спешите замуж, — нашептывала Олимпиевна, выдергивая последнюю наметку, — пригодится вам ваше девичество… Вот и вышло по-моему. Были бы барышнями — были бы сейчас фрейлинами, каждый день бы видели государя с государыней. А то, — вышли замуж за мальчишек!» — «Александра Олимпиевна!» — «А я бы на вас шила — все такое тонкое, воздушное, девическое, придворное… А вот теперь за гимназистами-то замужем, всю жизнь и будете ходить в простом суконном… Эх!»

За день до открытия музея, рано утром, за отцом из музея спешно приехал курьер. — «Что такое?» — «Не могу знать, только просили поскорее и во всем обычном…» — Отец сразу отправился. Вернулся довольно скоро. — «Зачем вызывали?» — «А показать молодой государыне музей». — «Одной?» — «Да. Она, бедняжка, страдает нервами, не выносит скопления людей, вот и решила посмотреть заранее». — «Как же это было?» — «Слуга вез кресло на колесах, я шел рядом». — «Она что-нибудь спрашивала?» — «Нет, ничего. Так и проехались молча по всем залам». — «И даже не сказала, что понравилось?» — «Нет. Она, должно быть, бедняжка, совсем больная: лихорадочные щеки, взгляд отсутствующий… Я сначала, было, называл залы, а потом и перестал: вижу — не до меня. Ни разу не взглянула ни направо, ни налево, так и проглядела в одну точку. Но под конец все-таки сказала: — „Благодарю вас, профессор“… Бедная женщина! Бедная женщина!»

Так это у меня и осталось, невиданным мною видением: в ранний час утра, в катящемся кресле, по пустым залам, между белых статуй…

В день открытия музея — майский, синий и жаркий — рано утром — звонок. Звонок — и венок — лавровый! Это наша старая семейная приятельница, обрусевшая неаполитанка, приехала поздравить отца с великим днем. Никогда не забуду. Отец в

старом халате, перед ним седая огнеокая красавица, между ними венок, который та упорно старается, а тот никак не дает надеть. Мягко и твердо отбиваясь: — «Помилуйте, голубушка! Старый профессор в халате — и вдруг венок! Это вам нужно надеть, увенчать красоту! Нет уж, голубушка, увольте! Сердечно вам благодарен, только разрешите мне этот венок… Экая вы, однако, прыткая!» Итальянка, сверкая глазами и слезами, а венок для верности над головой отца придерживая: — «От лица моей родины… Здесь не умеют чтить великих людей… Иван Владимирович, вы сделали великое дело!» — «Полноте, полноте, голубка, что вы меня конфузите! Просто осуществил свою давнишнюю мечту. Бог дал — и люди помогли».

Вторым подарком был наш, детский, на него и был положен венок, ибо это был — поднос. Подарок не такой бездарный, как может показаться сразу. Во-первых, папа постоянно пьет чай у себя в кабинете. Во-вторых, пока что, на подносе будут лежать визитные карточки всех предстоящих посетителей. (Усердная Олимпиевна: — «Письма буду носить Ивану Владимировичу на серебряном подносе, как графу или князю! Чем он хуже! (и, уже начало легенды): Сам царицу в кресле катал!») В-третьих, и, в-главных: есть место для даты, а дата — всё. Поднос поднесен, и опять извечный припев: — «Зачем мне, старому человеку, серебряный поднос? Это вам с Асей нужно, вы теперь замужем, гостей принимать будете… Спасибо, спасибо. Прекрасный поднос, массивный, хлебниковский… Только жаль, что так на меня потратились…»

Никогда не забуду: под первым лучом того майского солнца, в белом зале, на ломберном столике, на серебряном подносе — лавровый венок.

Сентябрь 1933

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ

Белое видение музея на щедрой синеве неба. По сторонам входа двойные ряды лицеистов, от долгого стояния прислонившихся ряд к ряду спинами и тем каждую шеренгу являющих многолико-двуликим — но каким младоликим! — Янусом. Первое при входе — старик в долгополой шубе (май!) «А где тут у вас раздеваются?» — «Пожалуйста, ваше превосходительство». — «А нумера даете? А то шуба-то небось бобровая, как бы при торжестве-то…» Тесть моего отца, древний историк И<ловайский>.

Белое видение лестницы, владычествующей над всем и всеми. У правого крыла — как страж — в нечеловеческий и даже не в божественный: в героический рост — микеланджеловский Давид. Гости, в ожидании государя, разбредаются по залам. Вдруг — звон, грохот, испуг, отскок, серебряные осколки и потоки: это восемнадцатилетний зять моего отца задел поднос с кавказскими водами, побежавшими и засверкавшими, как породившие их источники. Старички, удостоверившись, что не бомба, успокаиваются.

Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвин, ни груди без звезды. Мой брат и муж здесь единственно-молодые. Группа молодых великих князей не в счет, ибо это именно группа: мраморный барельеф. Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время делает с людьми, вот что — с богами. Вот что время делает с человеком, вот что (взгляд на статуи) — с человеком делает искусство. И, последний урок: вот что время делает с человеком, вот что человек делает со временем. Но я об этом, по молодости лет, не думаю, я только чувствую жуть.

Старость, в ее главной примете: обесцвеченность, пересиливает даже удар, по глазам, золота, ибо вся эта старость залита золотом: чем старее, тем золоче, чем дряхлее — тем блистательнее, чем тусклее око — тем ослепительнее грудь. Тоже статуи, но иным. Если великокняжеское юношество статуи по форме:

живой мрамор, сановники — статуи по материалу: гипсу Rigiditй[86] (русского точного слова нет) старых, полых,

заполненных смертной известью костей. Никогда не забуду, как один такой старичок, споткнувшись на лестнице, так и остался лежать, только ворочая головой, пока мой муж, сбежав к нему сверху, осторожно, но настойчиво не поставил его на ноги — как куклу. Сказав «кукла», я назвала дам. Белые, одинаковые, с одинаково-длинными шеями, особенно длинные от высоких, стягивающих горло, воротников, в одинаково-высоких корсетах, с одинаково-высокими «подъездами» причесок, может быть, молодые, может быть, старые, если и молодые, так старые, не старые-пожилые, — какого-то возраста, которого нет в жизни, собирательного возраста, создаваемого днем, местом и туалетом — а может быть, и ровным верхним рассеянным фотографическим стереоскопическим музейным светом… Куклы во всей торжественности, устрашительности и притягательности этой вовсе не детской вещи. Тройная белизна: стен, седин, дам — только фон, только берега этому золотому неустанно ползущему старческому Пактолу галунов и орденов. И еще одно разительное противоречие: между новизной здания — и бесконечной ветхостью зрителя, между нетронутостью полов и бесконечной изношенностью идущих по ним ног. Видения (статуи), привидения (сановники), сновидения (тот живой мраморный цветник) и куклы… Смело скажу, что статуи в тот первый день музейного бытия казались живее людей, не только казались, но — были, ибо каждую из них, с живой заботой отлитую мастером, со всей заботой живой любви собственноручно вынимал из стружек мой отец, каждую, с помощью таких же любящих, приученных к любви простых рук, устанавливал на уготованном ей месте, на каждую, отступив: «Хороша!» Этих же сановников и дам, казалось, никто уже, а может быть, и никто никогда не любил, как и они — никого и ничего… Настоящий музей, во всем холоде этого слова, был не вокруг, а в них, был — они, были — они. Но стой: что-то живое! Среди общего белого дамского облака совершенно неожиданно и даже невероятно-совершенно отдельная, самостоятельная рябая юбка! Именно юбка, над которой блузка «с напуском». Закоренелая «шестидесятница»? Обедневшая знатная? Нет, богатейшая и консервативнейшая жена консервативнейшего из историков, консерватизм свой распространившая и на сундуки, то есть решившая, вопреки предписанию («дамы в белых городских закрытых»), лишние пять аршин белого фая — сохранить. И в удовлетворении выполненного долга, в зачарованном кругу одиночества своей рябой юбки, еще выше возносит свою тщательно прибранную, надменную, молодую еще головку маркизы с двумя природными accroche-coeur'ами.[87] И так сильно во мне тяготение ко всякому одинокому мужеству,

что, отлично зная мутные источники этого, не могу — любуюсь! Но церемониймейстер не любуется. Кидая быстрые и частые взгляды на оскорбляющий его предмет и явно озабоченный, куда бы его и как бы его подальше убрать, он забывает о нем только под наплывом другой заботы: никто не становится в ряд, кроме купеческих старшин с бородами и с медалями, как вошедших — так выстроившихся «Господа, Mesdames… Их величества сейчас будут… Прошу… Прошу… Дамы — направо, господа — налево…» Но никто его не слушает. Слушают грузного, массивного, с умным лицом, сановника, который с плавными и вескими жестами что-то говорит — одному — для всех (Витте). Старшины глядят на Белого Орла на Нечаеве-Мальцеве, полученного им «за музей». «Господа… Господа… Прошу… Их величества…»

Все мы уже наверху, в том зале, где будет молебен. Красная дорожка для царя, по которой ноги сами не идут. Духовенство в сборе. Ждем. И что-то близится, что-то, должно быть, сейчас будет, потому что на лицах, подобием волны, волнение, в тусклых глазах — трепет, точно от быстро проносимых свеч. «Сейчас будут… Приехали… Идут!.. Идут!..» «И как по мановению жезла» — выражение здесь не только уместное, но незаменимое — сами, само — дамы вправо, мужчины влево, красная дорожка — одна, и ясно, что по ней сейчас пойдет. Пройдет…

Бодрым ровным скорым шагом, с добрым радостным выражением больших голубых глаз, вот-вот готовых рассмеяться, и вдруг — взгляд — прямо на меня, в мои. В эту секунду я эти глаза увидела: не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские.

Глубокий plongeon[88] дам, живое и плавное опускание волны. За государем — ни наследника, ни государыни нет —

> Сонм белых девочек… Раз… две… четыре…
> Сонм белых девочек? Да нет — в эфире
> Сонм белых бабочек? Прелестный сонм
> Великих маленьких княжен…

Идут непринужденно и так же быстро, как отец, кивая и улыбаясь направо и налево… Младшие с распущенными волосами, у одной над высокими бровками золотая челка. Все в одинаковых, больших, с изогнутыми полями, мелкодонных белых шляпах, тоже бабочек! вот-вот готовы улететь… За детьми, тоже кивая и тоже улыбаясь, тоже в белом, но не спеша уже, с

обаятельной улыбкой на фарфоровом лице государыня Мария Федоровна. Прошли. Наша живая стена распрямляется.

Благослови, владыко!

———

Молебен кончен. Вот государь говорит с отцом, и отец, как всегда, чуть склонив голову набок, отвечает. Вот государь, оглянувшись на дочерей, улыбнулся. Улыбнулись оба. Церемониймейстер подводит государыне Марии Федоровне московских дам. Нырок, кивок. Нырок, кивок. В этих нырках что-то подводное. Так водоросли ныряют на дне Китежа… Государь, сопровождаемый отцом, последовал дальше, за ним, как по волшебной дудке Крысолова, галуны, медали, ордена…

Воздух, после молебна, разреженнее. Оборот некоторых голов на статуи. Называют имена богов и богинь… Одобрительные возгласы…

Старая отцова поклонница, обрусевшая итальянка, все время скромно державшаяся в тени, — если можно сказать «тень» о месте, где все свет, — выступив и, с отчаянием великих решений, схватив отца за рукав: «Иван Владимирович, вы должны выйти!» И, как заклинательница, трижды: «Выйти — и встать, выйти и встать, выйти и встать!» И, странно, без малейшего спору, точно не прослышав смысла слов и повинуясь только интонации, мой отец, как в глубоком сне, вышел и встал. Чуть склонив набок свою небольшую седую круглую голову — как всегда, когда читалки слушал (в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее), явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела. Это было видение совершенного покоя.

———

— Папа, а что государь с тобой говорил? — «А скажите, профессор, что за красивая зала, где мы слушали молебен, такая светлая, просторная?» — «Греческий дворик, Ваше Величество». — «А почему он, собственно, греческий, когда все здесь греческое?» Ну, я начинаю объяснять, а государь дочерям: «Марья! Настасья! Идите сюда и слушайте, что говорит профессор!» Тут я ему: — «Помилуйте, Ваше Величество, разве

таким козам может быть интересно, что говорит старый профессор?..»

— Папа, а на меня государь посмотрел! — Так на тебя и посмотрел? — Честное слово! — Отец философски: — Все может быть, нужно же куда-нибудь смотреть. — И перенося взгляд с меня на последний портрет матери, где она так похожа на Байрона: — Вот и открыл Музей.

И оглядываясь еще дальше — на другого путеводного женского гения, со всей силой творческой и старческой благодарности:

— Думала ли красавица, меценатка, европейски-известная умница, воспетая поэтами и прославленная художниками, княгиня Зинаида Волконская, что ее мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до двенадцати лет и сапогов-то не видал…

1933

ОТЕЦ И ЕГО МУЗЕЙ

I. ШАРЛОТТЕНБУРГ
(Перевод А. Эфрон)

Мне скоро шестнадцать. Асе — четырнадцать. Три года тому назад умерла наша мать.

Шарлоттенбург близ Берлина. Знойное время дня и года. Водопады, потоки, обвалы солнца. Устрашающая девическая мода тех лет: длинные юбки, длинные рукава, тиски обшлагов и пройм, капканы воротников. Не платья — тюрьмы! Черные чулки, черные башмаки. Ноги черные!

— Папа, долго еще!

Шагаем уже добрых полчаса, а час ходьбы с отцом стоит целого дня с иным скороходом.

— Скоро, скоро, еще минут пятнадцать-двадцать, не больше! Отец мой — страстный, вернее — отчаянный, еще вернее — естественный ходок, ибо шагает — как дышит, не осознавая самого действия. Перестать ходить для него то же, что для другого — перестать дышать. Мы с сестрой, пыхтя, следуем. Идем гуськом — отец впереди, за ним — я, за мной — Ася.

«Городок Шарлотты» (какой-нибудь «Великой», должно быть, раз назван ее именем) — Шарлоттенбург вымер начисто. Ставни закрыты. Вокруг — ни собаки. Единственные собаки на улице — мы. Сказала: «закрытые ставни». А есть ли они вообще? Ставни? Дома? — Не знаю и знать не могу, так как иду, не поднимая головы, загипнотизированная движением собственных черных ног по белой мостовой.

— Папа, скоро? — это опять Ася спрашивает, я же, из гордости врожденного пешехода — и прочих своих гордостей — молчу.

Шесть черных башмаков по белой мостовой.

Два впереди, два вслед, два замыкающих.

Но не может же так длиться вечно! Надо что-то придумать. И — придумываю. Все это — только сон. Я сплю. Потому что такой

жары — до седьмого пота, такого раскаленного света, словом, такого ужаса просто не может быть. И поскольку любому, даже самому долгому сновидению срок — три минуты, не более, значит, я не успела устать. Даже во сне.

Стоило лишь убедиться — усталости как не бывало.

И — голос отца:

— Вот мы и пришли.

Громадная, если не бесконечная, Gipsabgьsserei: склады гипсовых слепков с мраморных подлинников. Статуи, статуи, статуи.

— Вы у меня молодцы, шли — не ныли, — говорит отец, вытирая лоб, — в награду дарю каждой по слепку, пока мы тут побеседуем с господином директором. Будьте умницами, мы недолго.

Итак, мы с Асей одни в зачарованной стране, одни — странно-черноногие среди всех этих застывших, бело- и голоногих. Начинаем поиски, от статуи к статуе, от торса к торсу, от головы к голове. По правде сказать, я не очень люблю скульптуру. Вот если бы отец предложил мне вместо двух слепков на выбор две книги, я бы тотчас назвала с десяток самых вожделенных. Но — делать нечего. Постараемся хотя бы напасть на что-нибудь не слишком статуйное.

Расходимся в разные стороны, чтобы, упаси господи, не выбрать одно и то же. Время от времени, как в лесу за грибами:

— Ау-у! Нашла?

— Нет еще, а ты?

— И я нет.

— Ты меня видишь?

— Вижу!

— Ты где?

— Здесь!

Игра в прятки среди статуй. Наконец вопль Аси:

— Есть! Кажется, мальчик!

Полная ревнивого любопытства, я бы помчалась на ее голос, но не очень-то тут помчишься. Пробираюсь, даже протискиваюсь.

Действительно, мальчик. Наш сверстник, даже, пожалуй, моложе — и с нашей челкой на лбу. Не статуя, не торс — голова.

— Нравится?

— Для тебя — да, для себя — нет.

Не успеваю скрыться в дебрях человеческих окаменелостей, как снова — зов.

— Еще нашла! Опять мальчик! Подхожу, и, вглядевшись:

— Никакой это не мальчик.

— Мальчик!

— Говорю тебе — не мальчик.

— Ну, знаешь, ты с ума сошла, если считаешь это — девочкой!

— А я и не говорю, что девочка. Скорее — ангел.

— А крылья?

— Значит — греческий ангел. Или римский. Во всяком случае — не человеческий мальчик.

— Человеческий — не человеческий, зато у меня их два, а у тебя — ничего.

И правда — ничего. Потому, что хочу чего-то очень своего, не выбранного, а полюбленного с первого взгляда, предначертанного. Что не менее трудно, чем найти жениха.

Ах, если бы здесь была голова Бонапарта! Я давно бы схватила ее, притиснула бы к груди — но он родился куда позже Греции и Рима! Ну а Цезаря мне не нужно; Марка Аврелия тоже.

Остается продолжать поиски среди женщин.

И — вот она! Вот — отброшенная к плечу голова, скрученные мукой брови, не рот, а — крик. Живое лицо меж всех этих бездушных красот!

Кто она? — Не знаю. Знаю одно — моя! И так как столь же моего мне больше не найти, и так как мне ничего (никого!), кроме нее, не нужно — не раздумывая присоединяю к ней некую благонравную и туповатую девицу с чем-то вроде шарфика на волосах — первую попавшуюся!

Найдя — прогуливаемся.

— Конфетку хочешь?

— Давай!

В моих, уже слипшихся, пальцах капелькой крови — кислый русский леденец, носящий французское — времен их эмиграции? — название «монпансье». Переглядываемся и — одним и тем же молниеносным движением вталкиваем: Ася — зеленую, я — красную конфету в разверстые пасти: Льва — (Ася), Героя — (я).

До чего же этот изумруд и этот гранат оживляют белизну гипсовых языков!

Сестра, засунув руку поглубже:

— Знаешь, у них нет глотки. Совсем. Там, внутри, — тупик! (Голос отца: «Ася, Муся!» — «Сейчас, папа!»)

— Надо их вынуть!

— Нет, оставим!

— Но что директор подумает?

— Он и не увидит: у него очки. Да если и увидит — никогда

не поверит, что дочери нашего отца…

— А если и поверит, то никогда не решится сказать…

— А если и решится, то не успеет…

— …Ну как, выбрали?

О, ужас! Папа с директором направляются в нашу сторону!

— Нашли себе что-нибудь по вкусу, милые барышни? (Директор.)

— Вот это — и это — и это — и это.

— Сразу видно, что вы — дочери своего отца! (Одобрительно:) Донателло — и — (забыла имя) — и Амазонка — и Аспазия. Прекрасный, прекрасный выбор! Разрешите мне, уважаемый профессор, преподнести эти слепки вашим дочкам!

Итак, моя любовь с первого взгляда — Амазонка! Возлюбленный враг Ахиллеса, убитая им и им оплаканная, а та, другая, благонравная, моя «первая попавшаяся» — не кто иной, как Аспазия!

— Поблагодарите же господина директора за чудесный подарок! Благодарим. Но истинную нашу благодарность господин директор обнаружит несколько погодя — в разинутых пастях Героя и Льва.

Довольные, покидаем заколдованное царство.

— А теперь пойдем выпьем пива, — говорит отец.

II. МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ГАЗОНА

Как-то, из поездки по хозяйственным делам отец привез машинку для стрижки газона, разбитого им на лужайке перед главным входом собственноручно.

— Это тебе, это — Асе, это — Андрею, а это — для Музея. «Это для Музея» было машинкой для стрижки газона: тяжелая, сверкающая и внушающая уважение садовая игрушка, которую он бережно достал из небольшого ящика, трижды обвязанного веревкою.

— Ну как, хороша?

— Великолепна!

— Угадайте, сколько я за нее уплатил?

— Марок сто?

Отец рассмеялся:

— А вот и вдвое меньше.

— А пошлина на таможне?

— Совсем ничего.

— Как это?

— Да так. Я взял её с собой в вагон. «А что у вас в ящике, господин профессор?» — «Там греческие книги, дружок». — «А! Господин преподает греческий?» — «В Московском университете, дружок, уже тридцать лет». — «Это, наверное, очень трудный язык!» — «Нет, не очень, нужно немного терпения, вот и все». — «Я был бы очень горд, если б умел читать на греческом!»

Уже через две минуты я преподал ему урок греческого языка тут же, в вагоне. Милый человек! Мы расстались друзьями.

— Ну, а если б он попросил тебя открыть ящик?

— Я бы сказал, что я ничего не знаю, что букинист все

напутал… Но никакого риска не было: ну разве я похож на типа, который может прятать у себя в багаже что-нибудь иное, кроме греческих книг?

Действительно, отец выглядел именно тем, кем он на самом дел был — самым честным из людей, потому и сомнений быть никаких не могло…

Только благодаря таким хитростям и попадают в Царство Небесное.

III. МУНДИР
(Перевод А. Эфрон.)

Для отца моего новая одежда была не радостью, а горем, если не катастрофой.

— Папа, пора тебе сшить костюм. Твой ведь…

— Еще годится. Крепкий и без единой дырки.

— Но цвет…

— Не может быть иным после пятилетней носки. Доживешь до моих лет — узнаешь, что такой срок и нас не украшает.

— А все же, папа, почему бы тебе не заказать новый костюм?

— Зачем, когда мне и этот хорош? А если другим не нравится, пусть не смотрят. И вообще — кто будет по одежде встречать и провожать старого профессора?

На следующий день окликает на лестнице моего брата:

— Андрей, слушай, Андрей, не помнишь ли адреса моего приятеля — портного Володина? Я все же решил его перелицевать.

— Что?!

— Пиджак перелицевать.

— Купи себе лучше новый!

— Купи, купи… Это ты привык, с колыбели нужды не знаешь. А я учился на медные деньги и не привык бросаться тем, что еще может послужить.

Поймите меня: это не было скупостью.

Вернее — было. Скупостью в превосходной степени.

Скупость сына бедных родителей, стеснявшегося тратить на

себя то, чего не могли на себя тратить они, трудившиеся до последнего вздоха.

Итак — скупость, являющая собой сыновнее уважение.

Скупость бывшего нищего студента, чьи нынешние траты как бы наносили ущерб нынешним нищим студентам.

Итак — верность своей юности.

Скупость земледельца, знающего, с каким трудом земля родит деньги.

Итак — верность земле.

Скупость аскета, которому все лишнее для себя — тела и всего слишком мало для себя — духа; аскета, сделавшего выбор между вещью и сутью.

Скупость каждого, делом занятого, человека, знающего, что любая трата — прежде всего трата времени.

Итак — скупость: экономия времени.

Скупость каждого, живущего духовной жизнью и которому просто ничего не нужно. (Отрешенность Льва Толстого от всех благ земных была не «фантазией», а потребностью, ибо писателю куда сложнее управлять имуществом, чем раздавать его. Ибо обыкновенный некрашеный стол нужнее полированного письменного, со множеством ящиков, наполненных лишними вещами, захламляющими в первую очередь голову. Приверженность Вагнера к роскошным декорациям жизни всегда была для меня загадкой большей, чем его гений.)

Итак, скупость: духовность.

(Все эти скупости недаром мне ведомы — я их унаследовала от отца, среди многого иного! Выиграй я завтра миллион, я купила бы себе не норковое манто, а честную шубу на овчине, самой простой выделки, как все наши крестьянки носили. Овчина — не каракуль. Теплая, без сносу, не вызывающая ни зависти, ни неловкости, ни угрызений.)

Скупость дающего, наконец: быть скупым, чтобы мочь

раздаривать.

Ибо раздаривал он до последнего вздоха, ибо последний вздох его был актом отдачи, сожалением, что не хватило еще нескольких лет жизни для перестройки — на собственный счет, на тройной свой оклад профессора, директора и почетного опекуна — музейных колонн, показавшихся критикам слишком тонкими по отношению к высоте.

…А сколько бедных студентов, бедных ученых, бедных родственников поддерживал он!

Но заметим себе: щедрость его была расчетлива в мелочах; вручая, например, студенту двести рублей на поездку в Италию, он не забывал уточнить: «А до вокзала отправляйся на трамвае, это в десять раз скорее и в десять раз дешевле, чем на извозчике: там пятак, а тут полтинник!»

Главный удар по отцовской «скупости» был нанесен мундиром. Мундиром «Почетного опекуна» (звание, полученное за создание музея). Мундиром, которого нельзя перелицевать, раз он еще не существует. Который должен быть новее нового, ибо весь — в золотом шитье!

— Да, но это обойдется мне в семьсот рублей! — таков был ответ отца на наши поздравления его с новым званием.

— Неужели за звание надо платить?

— За звание — нет. За мундир.

— Как! У тебя будет мундир? Шитый серебром?

— Если бы серебром…

———

Потом начались примерки, проходившие в гробовом молчании.

— Раз он портной, пусть смотрит сам. Его дело!

Впрочем, на моей памяти отец ни разу не бросил сознательного взгляда в зеркало. Безмолвные примерки, за

которыми следовало глухое, медвежье ворчанье:

— Семьсот рублей за одежду — да это форменный грабеж! Прикинем: на семьдесят пять рублей сукна, да на сотню серебряного и золотого шитья, — материал и работа — да полсотни портному… ах, еще на подкладку рублей двадцать пять — вот вам всего-навсего двести пятьдесят — и это хорошая цена! Пусть будет, для очистки совести, триста. Куда же деваются еще четыре сотни? Кому?

— Но, папа, ведь придворный портной берет за работу не пятьдесят рублей, как обыкновенный.

— Придворный, обыкновенный. Есть только два разряда портных — плохие и хорошие. А для меня все они хороши, было бы во что вдеть руки и ноги! Придворный портной! Выходит, что переплачиваешь за звук, за слово «двор»!

———

Наконец мундир готов, и мы помогаем отцу попасть в рукава и застегнуться на все крючки.

Восклицания восторга: «Какая красота! Как ты в нем хорош! Да посмотри же на себя!»

Он бросает в сторону зеркала растерянный и недоверчивый взгляд близорукого — чтобы тотчас же отвести глаза.

— Хорош! — даже слишком! (И, повторяя привычный свой припев:) Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!

— Так это же не на себя, а для музея, папа!

Он, настораживаясь:

— Постой, постой, постой… как ты сказала?

— Для музея. Чтобы почтить твой музей. Твой новый музей — твоим новым мундиром. Мраморный музей — золотым мундиром.

— У тебя красноречие твоей матери. Она все могла со мной сделать — словами.

— Да ведь это не слова, папа. Это — глазами видишь. Белая лестница музея, а наверху, меж двумя колоннами — ты. В темно-синем, серебряном, золотом… Посмотри, что за прелесть это шитье! Листья… веточки…

— Если бы не золото!

— Но ведь оно — почти совсем не золото! Так — тень золота, едва заметная, даже чуть зеленоватая. Скромный, благородный вид!

— Да, в глаза как будто бы не бьет. Но выглядеть такой… иконой!

И — со вздохом:

— Разве что для музея…

IV. ПРИЮТ

По делам Музея отец часто бывал в Германии и всегда останавливался в каком-нибудь странноприимном доме: убежище для людей почтенных, но незажиточных.

— Встают в шесть часов под звуки колокола.

— А ты?

— И я: это полезно для здоровья. Потом женщины моют полы, мужчины бреются.

— И ты тоже? (У отца никогда не было бороды, но были большие усы а ля Клемансо.)

— И я. — Потом все поют благостные пестнопения.

— Неужели ты тоже?

— И я.

— Но, папа, как ты можешь петь, ты же фальшивишь.

Он, соглашаясь,

— Да, я немного фальшивлю, но пою так тихо, чтобы меня никто не слышал, я только чуть-чуть открываю рот.

— Но они же протестанты! (Это говорит наша гувернантка, которая грезит о монастыре.)

— Да, протестантские. Но голоса прекрасны и слова тоже. А потом все пьют кофе с молоком… и уходят — до вечера.

— Папа, а это не Армия спасения!

Папа:

— Может быть, но в это не очень верится, ведь за все время я не встретил никого в форменном платье.

V. ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК (Перевод А. Эфрон.)

День открытия музея. Едва занявшееся утро торжественного дня. Звонок. Курьер из музея? Нет, голос женский.

Разбуженный звонком, отец уже на пороге зала, в старом своем, неизменном халате, серо-зеленоватом, цвета ненастья, цвета Времени. Из других дверей, навстречу ему — явление очень красивой, очень высокой женщины, красивой, высокой дамы о громадными зелеными глазами, в темной, глубокой и широкой оправе ресниц и век, как у Кармен, — и с ее же смуглым, чуть терракотовым румянцем.

Это — наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери — Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка — княжеской крови и романтической души.

Отец, разглядев посетительницу:

— Ради Бога, извините, Лидия Александровна! Я в таком виде… Не знал, что это вы, думал — курьер… Позвольте, я… (смущенно показывая на халат).

— Нет, нет, нет, дорогой мой, глубокоуважаемый Иван Владимирович! Так — гораздо лучше. В этот знаменательный день халат ваш похож на римскую тогу. Вот именно — тогу. Даже на греческий пеплум. Да.

— Но… (отец, конфузясь все больше) я, знаете, как-то не привык…

— Уверяю вас — настоящая тога мудреца! К тому же, через несколько часов вы предстанете нам во всем своем блеске. Я так рано, потому что хотела первой поздравить вас с этим великим днем, самым прекрасным днем вашей жизни — и моей тоже. Да, и моей. В которой мне никогда ничего не дано было создать. Мне не было дано этого счастья. Поэтому я вас так и полюбила. Сразу

полюбила. И буду любить — до последнего вздоха. За то, что вы — созидатель. Вот именно — созидатель. Я должна была первой поблагодарить вас за подвиг вашей жизни, за подвиг вашего труда. От имени России и от своего я принесла вам — вот это.

Перед ошеломленным отцом — лавровый венок.

— Позвольте, позвольте, позвольте…

— Наденьте его — сейчас же, тут же, на моих глазах. Пусть он увенчает ваше прекрасное, ваше благородное чело!

— Чело? Лидия Александровна, голубушка, я бесконечно тронут, но… лавровый венок… мне?! Это, право, как-то даже и некстати!

(В своей полнейшей отрешенности от внешнего, отец и не задумывается о том, как может выглядеть лауреат в халате!)

— Нет, нет, нет, не спорьте! — посетительница, с вызовом на устах и со слезами на глазах. — Я должна увенчать вас, хотя бы на мгновенье!

И, пользуясь тем, что отец мой, движением смущенной благодарности, протягивает ей обе руки, она предательским, воистину итальянским жестом, возлагает, нет, нахлобучивает ему на голову венок.

Он, отбиваясь:

— Прошу вас, не надо! Не надо!

Она, умоляюще:

— О, не снимайте! Он так вам к лицу!

И, со всей страстью восхищения (ибо восхищение — величайшая из ведомых мне страстей!) — целует его, — тридцатипятилетняя красавица — почти семидесятилетнего старика, в увенчанный лаврами лоб.

Мгновение спустя (венок уже снят и бережно положен на стол) просительница, все еще стоя и сжимая руки моего отца в своих:

— Хочу, чтоб вы знали: это — римский лавр. Я его выписала из Рима. Деревцо в кадке. А венок сплела сама. Да. Пусть вы родились во Владимирской губернии, Рим — город вашей юности (моей — тоже!), и душа у вас — римская. Ах, если бы ваша жена имела счастье дожить до этого дня! Это был бы ее подарок!

Отец мой скончался 30 августа 1913, год и три месяца спустя открытия музея. Лавровый венок мы положили ему в гроб.

1936

ЖЕНИХ

Не мой и не Асин: общий. А в общем — ничей, потому что ни одна не захотела. Была еще старшая, но она уже была замужем. Но если бы и не была — тоже бы не захотела. Кто захотел бы? Впрочем, всякая, без чутья. Молодой, если не красивый, то благообразный, именно благообразный (вообще все, что угодно от блага: благоприличный, благоразумный, благонамеренный, все, все, кроме — рудный, этого не было, и из-за этого-то…), как говорится, «умный», «образованный», «культурный», из приличной семьи, с хорошим будущим… В этом будущем-то все дело и было, ибо осуществить его должны были мы, одна из двух незамужних дочерей нашего отца. Из-за него и сватался, нет, не сватался, даже не ухаживал: охаживал. И как! — кругами, как кот — мясника. Кот, впрочем, был сытый, немножко даже слишком. Рослый и плотный, и, увы, весь какой-то потный, неуловимо, точно каким-то подкожным потом, как бывает подпочвенная вода. Вообще, с водой он был связан целиком. Во-первых, глаза: совершенная вода без ничего, кроме первого впечатления честности. Честная голубая вода. Нестерпимо-честная. На вас глядели два честных пустых места. В детстве такие глаза именуются небесными, позже — честными. Почему у женщин такие глаза именуются русалочьими, а у мужчин — честными? Приводятся как гарантия честности, а принадлежат они, обыкновенно, самым пройдохам. Этими глазами-то они и проходят — в первые ученики, и в зятья, и в директора. «Человек с такими глазами не может…» Нет, человек с такими глазами именно может, и может — все. Свойство этих глаз глядеть прямо в ваши, не минуя и не мигая, сбивать ваш взгляд, как кеглю, вас непременно пересмотреть. Второе ощущение: губы говорят одно, а глаза другое: свое и непременно нехорошее. — «А я знаю!» — что? — да какую-то про тебя гадость, такую гадость, которую ты и сам про себя не знаешь. И вот, в смятении, начинаешь искать. Если человек слаб, он непременно найдет. Так или иначе, вы этими глазами побиты заранее. Ибо свойство этих глаз — власть. Глаза судьи. Точные глаза допроса. Допроса, значит — внушения. Заставлю признаться! — В чем?! — Да в том, что ты такой же, как я.

(Как если бы вчерашний каторжанин допрашивал бывшего товарища.) Глаза сообщничества, от которого вы тщетно отбиваетесь. Если вы их прочли, вы еще более пропали, чем если вы им поверили. И, странная вещь, именно их, у интеллигенции

слывущих «честными», простолюдин неизменно назовет бесстыжими. Слово, которого, кстати, вы никогда не услышите о черных, нет, только о светлых, и из светлых — только о голубых. И о голубых с непременно черными ресницами, которыми правда точно черным по-белому написана, и гласит она: — Берегись! И, чтобы все сказать: честные, как речная вода.

С водой жених еще был связан местом нашей встречи: Окой. Там у жениховых родителей в городке Тарусе была дачка. Как только мы с Асей впервые в нее вошли, мы сразу почувствовали подозрительность: слишком уж… — что? Да благостно! Женихов отец с толстым темно-синим сатиновым животом, еле удерживаемым крученым, с кистями, поясом, медовым голосом приглашающий нас «испить чайку с медком», и даже, кажется, «почтить»; женихова мать — с теми же глазами, только разбавленными и расслабленными «бабьей долей», с теми же, но разведенными: все, что было голубого, слила сыну, себе же ополоснула — с каким-то зазыванием страшных снов влекшая нас к столу и варенье есть убеждавшая так, точно в вазочке не крыжовник, а живой жемчуг; сама обстановка, — именно обстановка: то, как вещи человека обставали: стулья — прислоняли, диванчики — засасывали, столы (засада) засаживали, все же вместе ввергало в глубочайший столбняк непротивления, не говоря уже о явном, столь чуждом нашему простому, как трава растет, дому, «русском стиле» солонок ковшами, рамок теремками, пепельниц лаптями, — и самой речи: какой-то ямщицки-елейной, сплошь из возгласов «эхма» да «ух», разделяемых «сподобил Господь» и «все под Богом ходим», и, теперь я назову главное — почет. Почет, сразу наведший нас с Асей на верный след — Толиных честных глаз.

— И с чего это, — говорили мы, спускаясь и подымаясь, как по волнам, по холмам, ведшим из Тарусы в наше Песочное, — добро бы мы были княгини, или старухи, или какие-нибудь знаменитые актрисы… Ведь не можем же мы им, с нашими вихрами и локтями, нравиться… Ведь, по существу, они должны нас ненавидеть.

— Просто выгнать — за один вид.

— А заметила, как одобряли, как на каждое слово хихикали?..

— Особенно отец.

— Особенно мать.

— А Толя сидел и обливался маслом. Ася, клянусь, что он облизывался. Да: на тебя!

— Гадости говоришь. Если облизывался, так уж конечно на тебя, потому что меня ему по крайней мере, по самой крайней мере еще три года ждать. А тебя только год.

Третья его связь с водою была баня. В Тарусе ли, в Москве ли, придешь в званые гости, его сестра Нина, еще с порога:

— А Толи еще нет. (Шепотом на ушко.) Он в бане. Просил вам не говорить, но я уж по дружбе скажу.

И когда после бани, явно-распаренный и недаром распаренным голосом: — «У вас голова Антиноя…» — самое мягкое, что можно было отрезать: — «Не говорите глупости!»

— Настоящий банный мужик, — говорила Ася с негодованием, — хотя я банных мужиков никогда не видела. Ему бы мочалкой купцов скрести, а не писать стихи про нереид. Недаром его отец всегда хвастается, что из простых мещан, а вот стал классным надзирателем. Я, конечно, за равенство, — продолжала третьеклассница, горячась, — но только не в замужестве. Лучше за нелюбимого царя, чем за любимого пономаря. А этот еще и нелюбимый.

Эти завтраки дней рождений! В нашей большой белой зале, через раздвинутый парадный стол, оглавляемый седовласой немкой, среди других лиц, милых, молодых, румяных — бледное русо-бородое и — усое лицо Анатолия с неустанно-вперенным в одну из нас взглядом.

— Марина! За вашу тайную мечту! Ася, — за нашу!

— Что-о-о?!

— Um Gottes Willen, Kind, schrei doch nicht so furchtbar![89]

— Хороший молодой человек, — резюмировала немка после каждого его посещения. — Тихий, почтительный, с хороший манер. Только, schade,[90] что у него такое Käsegesicht.[91] Ему бы надо делать гимнастик и кушать побольше компот с чернослив.

Прислуга же, всем животным чутьем простолюдина, Анатолия не выносила.

— Ни за что, Асенька, не идите за них замуж! Они хотя и полные и белые и как будто даже голубоглазые, а какие-то (шепотом)… поганые. Очень уж тихие. Беспременно бить будут. Или щипать с вывертом. Или даже булавки вкалывать. Потому что душа у них самая змеиная.

Точным разлетом маятника от младшей к старшей жених проколебался ровно год. Именно, от младшей к старшей, ибо с первой минуты было ясно, что предпочитает он из двух зол меньшее, то есть Асю, меньшую ростом и с большими волосами и надеждами, и отделяемую от него только живой и постоянно сменяющейся стеной, летом — крестьянских мальчишек и девчонок, зимой — мальчишек и девчонок городских. Между ним же и мной стоял непреложный утес Св. Елены. Ибо только он: — «Марина, у вас глаза совсем как у дриады…» — я, по совершенно чистосердечной ассоциации: — «А какой ужас, что на Св. Елене не было ни одного дерева, то есть были, но как раз не там, где был Наполеон. Вы бы, если бы жили тогда, убили бы Hudson Low'a?» Как же тут было продолжать о дриадах? Дриаду я назвала не случайно, ибо жених был ими — дриадами, наядами, русалками и весталками — начинен. Перепробовав на мне всех героинь древности и Мережковского и отчаявшись когда-либо что-либо в ответ услышать, кроме проклятий Марии-Луизе и восхвалений гр. Валевской, приехавшей к нему на Эльбу, жених, наконец, отстал: отвалился. Шли еще четырехстраничные стихотворные посвящения, шли еще честные, в упор, взгляды, заставлявшие меня (ибо для того и шли!) опускать глаза, но все это было уже на авось, про запас, «впрок» — на случай, если Ася, действительно, не… А Ася — люблю девическое тринадцатилетие! — действительно не — и ни за что.

— Когда же вы, Ася, оставите все эти сеновалы и костры в унижающем вас обществе всяких Мишек и Гришек? Когда же вы, Ася, наконец, вырастете?

— Для вас — никогда.

— Наконец, прозреете?

— На вас — никогда.

— Как вы еще молоды! Слишком молоды!

— Для вас — навсегда.

В Москве же Толины дела еще ухудшились, ибо в Тарусе земля слухом полнилась: слухи доходили водою, сама Ока рассказывала жениху, с кем вчера на дырявой лодке каталась его тринадцатилетняя невеста, с кем на песках до трех часов утра и полной хрипоты орала: «Трансваль, Трансваль, страна моя»… В Москве же все следы заливали ливни и заметала метель. Впрочем, первая обо всем извещала сама Ася.

— А я с одним реалистом познакомилась, Толя, у него вот такие глаза! Черные, как у Пушкина.

— У Пушкина глаза были голубые. (Цитата.)

— Врете, Толя, это у вас голубые. Зовут его Паша, а я зову пашб. — И т. д., и т. д. Нужно сказать, что Ася была очень хорошенькая — милой, особой, своеобразной грации, и если не крушила сердец, то по своей, безмерной уже тогда, человеческой и женской доброте, прекращавшейся только на Анатолии.

— Если бы вы еще походили на Анатоля из «Войны и мира», — задумчиво говорила она, глядя на него то с правого бока, то с левого, — но так как вы похожи на Левина, и даже не на Левина, а…

— Вам слишком рано дают читать серьезные книги… — перебивал жених, чтобы не услышать, на кого похож.

— А такая книга, как вы, — не рано? Такие книги лучше не читать никогда.

———

— Папа, как тебе нравится Анатолий?

— Наш новый дворник?

— Нет, папа! Наш дворник — Антон, а это — студент, Тихонравов.

— А-а-а… Он, как будто, не особенно далекий? — (И, когда мы уже думали, что вопрос исчерпан.) И от него какой-то странный запах…

И эта аттестация — в ответ на «petits soins»,[92] которыми он окружил отца, на постоянные, в беседе, латинские и греческие цитаты, на весь труд по будущему состоянию зятя, состояние, которое отцу, по его простодушию и нашим с Асей годам и главное — складу, и в голову не могло прийти.

Годы шли, не много, но полные. Подымались на столько-то наши именные орешники, поднимались на двери наши прошлолетние зарубки роста. Мы перешли в последние сужденные нам классы. И вдруг из Тарусы к нам в Песочное, с посыльным, письмо. Асе. Рука Толина. Открываем: посреди мелкого бисера почерка — жирная раздавленная гусеница.

— Дурак, — сказала Ася холодно.

— Автопортрет, — уточнила я.

Под гусеницей фраза: «Берегите себя для себя и для меня».

— Наглец. Он пишет, точно я уже в таком положении! И тут же, одним махом, на обороте: «Возвращаю вам ваше имущество и извещаю, что у меня ничего вашего, ни от вас не осталось».

— Берегись, Ася! Он тебе эту гусеницу попомнит! Гусеница (случайная, конечно) оказалась роковой, ибо она как бы жирным шрифтом подчеркнула Анатолию всю невозможность этого союза. Это был последний штрих и последняя черта. В ту же зиму Ася познакомилась на катке с Борисом Т., за которого вскоре вышла замуж.

———

Большое тире. 1921 год, весна. Ася только что вернулась из Феодосии, где застряла с 1917 года. Последний год варили мох. Худая, оборванная, но неизменно-живая и живучая.

— Марина, пойду служить в Музей.

— С ума сошла! Там теперь Анатолий — директором.

— Анатолий — директором?! И даже не женясь на нас? Ну и счастливец!

— Не только не женясь на нас, но женясь на самой обыкновенной, как надо, барышне.

— Как надо — барышне? Нынче же иду в Музей!

Возврат и рассказ:

— Прихожу. Сидит за папиным столом, не встает. — «Вы давно приехали?» — «Вчера». — «Что вам угодно?» — «Место в Музее». — «Свободных мест нет». Тогда я ему, очень кротко, но четко: «Может быть, для меня найдется? Вы все-таки, Толя, подумайте». — «Подумаю, но — если что-нибудь и найдется, то не…» — «Я и не претендую». И тут, Марина, входит жена, без стука, как к себе в комнату. Молоденькая, хорошенькая — куда нам даже тогда! — по-настоящему хорошенькая: куколка, с ноготками, с локотками, и в белом платье с воланами. Впорхнула, что-то щебетнула и выпорхнула. Он нас даже не познакомил. Не говоря уже о том, что он мне не предложил сесть, и я все время, в каком-то упоении происходящим, простояла.

Через неделю на машинке за директорской подписью извещение, что Ася принята сверхштатным помощником библиотекаря на жалование… но боюсь ошибиться, знаю только, что жалование было жалобное. Так, сверхштатным служащим в учрежденном отцом музее Ася прослужила десять лет, на девять с половиной пересидев директора Анатолия, которого неизвестно почему, но в спешном порядке попросили освободить директорское кресло. Но он в нем все-таки посидел.

Ныне Анатолий стал писателем. Книги его выходят на прекрасной бумаге, с красным обрезом, в полотняных переплетах. Темы его книг — заграничные, метод писания — собирательный. Так он, даже не женясь на мне, стал писателем. Только вот — каким?

Сентябрь 1933

ТВОЯ СМЕРТЬ

Каждая смерть, даже из самого ряда выхождения выходящая, — о твоей говорю, Райнер, неизменно оказывается в ряду других смертей, между последней до и первой после.

Никто никогда не стоял над гробом без примысла: «Над кем последним так стоял, над кем первым встану?» Таким путем создается между твоими умершими, личными умершими, известная связь, существующая только в данном сознании, в каждом данном разная. Так, в моем сознании ты предстал Неведомому между A и B, в сознании другого, тебя потерявшего, между C и D и т. д. Сумма наших осознаний и есть твое окружение.

Теперь о роде этой связи. В худшем, в частом случае, связь внешняя, местная, порядковая, чтобы все сказать — житейская, чтобы еще всее сказать — кладбищенская, по случайности соседства номеров и могил. Связь бессмысленная, посему не связь.

Пример. Между X и У при жизни не было никакой. Нет и в смерти, если не считать самой смерти, как тогда — жизни. Для породнения и того и другого мало. Такой гроб из нашего могильного ряда выпадет, ряд сомкнется на двух, значащих для нас могилах. Таким отбором и создается ряд наших смертей и наша смерть. Только об этих, и слагающих нашу собственную смерть, смертях и буду говорить, говоря о связи.

Каждая смерть возвращает нас в каждую. Каждый умерший возвращает нам всех до него и нас — им. Не умирали бы последующие, мы бы, рано или поздно, забыли первых. Так от гроба к гробу — круговая порука нашей верности мертвым. Некое посмертное сосуществование в памяти: ряде своих могил. Ибо все наши умершие, лежи они в Москве, на Новодевичьем, или в Тунисе, или еще где, для нас, для каждого из нас, лежат на одном кладбище — в нас, со временем в одной братской могиле. Нашей. Многие в одной и один во многих похоронен. Там, где сходятся твоя первая могила и последняя — на твоем собственном камне, — ряд смыкается в круг. Не только земля (жизнь), но и смерть кругла.

Через наши уста, целующие, роднятся, подаются друг другу

руки, целуемые. Через их руки, целуемые, роднятся, тянутся друг к другу уста, целующие. Круговая порука бессмертия.

Так, Райнер, ты породнил меня со всеми, тебя потерявшими, как я, в ответ породнила тебя со всеми, когда-либо мною потерянными, и ближе всех — с двумя.

Как по волнам несет нас смерть по холмам могил — в Жизнь.

———

Твоя смерть, Райнер, в моей жизни растроилась, расслоилась на три. Одна твою во мне готовила, другая заключала. Одна предзвучие, другая позвучие. Несколько отступив во времени — трезвучие. Твоя смерть, Райнер, — говорю уже из будущего — дана была мне, как триединство.

———

MADEMOISELLE JEANNE ROBERT[93]

— Ну, Аля, как было у француженки?

— Мама! Чудно! А самое чудное, что мы пришли, потому что если бы мы не пришли, было бы из всех детей только двое, две девочки — одна взрослая, а другая азбучная. И она бы даром готовилась и готовила. А Вы знаете — я так была удивлена — у нее чудная квартира: лестница мраморная, в коврах, с полированными перилами, с медными звонками какими-то… По такой лестнице и ходить приятно, но, конечно, не ей, потому что седьмой французский этаж, а ей, наверное, уже семьдесят.

Внутри чудно: картины, зеркала, и на каминах, всюду — воспоминания: плетеные, вязаные, всякие, и все с надписями. От учеников и учениц. А книг, мама! Целые стены! И все больше о Роланде, Quatre fils d'Aymor[94] — такие. А самое чудное: два рояля, в одной комнате. Именно потому, что она такая бедная — чудно. Потому что если бы у богатого, ясно. Просто всего помногу: салфеток, ножей… Вот взял и купил себе сразу два рояля, и еще два куплю. А у мадмуазель совершенно непонятно. И совершенно ясно: от любви. (Мама, у меня сейчас странная мысль: а вдруг она по ночам вырастает в огромную, и одна, без всякого труда, на двух роялях? Одна — на двух роялях — в четыре руки?)

И страшный холод. Два камина горят, а точно на улице.

— Ты расскажи все по порядку. С самого начала, как только пришли.

— Как только пришли, нас с Леликом сразу засадили за огромную старинную книгу о Париже. Потом начались звонки и стали прибывать разные прежние ученицы в меховых шубах, от семнадцати до сорока лет. И некоторые матери. У мадмуазель был вид встревоженный, и она все время бегала с чашками на кухню, и я ей немножко помогала. Да! мама, как чудно, что я все-таки не обменяла той коробки — помните. Вы говорили: важны конфеты, а не коробка. Нет, мама, и коробка важна — на Рождество. Конфеты в коробке — подарок, просто-конфеты — просто конфеты. И коробка всегда же останется — для писем, ленточек, всякого. Она так обрадовалась и уж хотела было ее подавать, но я упросила оставить на дорогу, потому что она

завтра едет в деревню к сестрам. А Лелик ей привез апельсины и яблоки, причем тщетно в лавке пытался ей купить сюсеток. Он говорил, что на десять франков выйдет очень много. Но его мама не позволила. Апельсины она подала, а яблоки оставила — тоже сестрам, наверное. Вот и поедет с подарками.

Мама, она, наверное, очень бедная, еще беднее, чем мы думали, наверное, все уходит на квартиру и на сестер, — потому что кроме пти-беров из угощения ничего не было. И какао и чай на выбор. Ей помогала какая-то молодая кузина, тоже в меховом. А сама она была в своем вечном черном, с той же бархаткой на шее, а на бархатке иконка с Жанной д'Арк, серебряная — знаете? Она, наверное, как Вы, считает, что неудобно хозяйке быть нарядной, раз ее дом, а может быть, ничего другого и нету, я, по крайней мере, никогда ничего кроме того черного на ней…

— Ну, а потом как было?

— Потом к нам присоединилось какое-то толстое существо, которое я, было, приняла за девочку, но девочка оказалась с напудренным лицом и накрашенными губами, и я уже не знала, что думать. На всякий случай, мы решили его (существо) развлечь игрой в мнения и развлекли так, что через пять минут оно исчезло, наверное, потому, что маленькая девочка — азбучная — один раз сказала про нее: boule de graisse, а другой: boule de viande[95] — да и мы не отставали. А потом сделалось темно и мадмуазель нам показала Эйфелеву башню, такую же далекую или близкую, как от нас. Как всегда отовсюду.

Мама, мне страшно хотелось есть, но я удерживалась и съела всего один пти-бер. И Лелик один. А та маленькая девочка — все остальные.

Потом мы стали собираться домой, но мадмуазель ни за что не пускала, потому что еще не танцевали. Мы с Леликом думали, что будем смотреть, но оказалось, что сами должны танцевать.

— Как же ты танцевала?

— А так, как мне показывали. Мадмуазель очень хорошо танцует, очень легко, но, конечно, те танцы, прежние. А Лелик, увидев, что танцуют не венгерку, насупился и объявил, что у него кружится голова. Но она с ним все-таки протанцевала. Она со всеми танцевала и страшно устала. Да! самое главное. Над

диваном, в гостиной, она — молодая. Она лежит в траве и читает книгу, а рядом с ней яблоки. В розовом платье, оборчатом, — очень хорошенькая. И тоже худая, только сейчас от старости, а тогда от молодости. И нос вырос. — Это ее сестра писала — не та, сумасшедшая, а другая — тронутая, которая не любит, чтобы сор выносили из комнаты. Сметет и бережет. Но картина чудная.

— Как прощались?

— О, хорошо, подробно. И целовались, и я благодарила, и она. Вашей книжке очень обрадовалась, но мне кажется, она не разглядела надписи — что это ей, просто думала, почитать. А зато, когда завтра в вагоне увидит, еще больше обрадуется. На прощанье еще раз пригласила ее на нашу елку, и она сказала, что непременно придет. Что же мы ей подарим — перчатки или бумагу?

———

Перчатки или бумагу? А денег, как на грех, не было, как всегда — на всегдашний! — на последний подарок.

А может быть, записную книжку? Есть совсем дешевые. А может быть, — так не хочется и не можется сейчас, в последнюю предъелочную минуту, идти, — ничего? Просто — позвали на елку. Где же, вообще, дарят? Ведь это только детям дарят… По грубости самоуговоров и заемности доводов — ясно: подарок нужен. Только вот: перчатки или бумагу?

Перчатки, оказалось, были уже куплены матерью мальчика: «теплые, прочные, а то у нее, бедной, совсем рваные. После того, как я у нее побывала — в этом холоде — мне все время хочется для нее чего-нибудь теплого. Авось, не обидится». (От русских — обида! Все равно, что нищий подал.)

Наличие перчаток установило бумагу. «От пяти до шести франков, не дороже семи-восьми, в крайнем случае десять, Что-нибудь неяркое, для пожилой дамы»…

(«Пожилой» — когда вот-вот рассыпется, и «дамы», когда — Mlle Jeanne Robert!)

Tтиs distinguй — parfaitement distinguй — tout ce qu'il y a de plus distinguй — on ne peut plus distinguй… (6 frs… 9 frs

cinquante… 12 frs cinquante… 18 frs.)[96]

Коробки, с легким картонным громом, громоздятся. Одно — видно, другое — скудно, третье — нудно, четвертое — дорого, пятое — дорого, шестое — дорого. И, как всегда, с возгласом: «Ah, il y en a encore une que j'oublie»[97] — последняя — та самая. (Как бы проверка точности нашего вкуса, легкий искус его — приказчиком…)

Голубая. Полотняная. С голубыми же цветочками на крышке, до того простыми, что не смешными. Без зубцов и якобы английской шероховатости краев… Много. Сходно.

— Rien de plus pratique et de plus distinguй. Et pas cher du tout, Madame, quarante feuilles et quarante enveloppes. Un bon cas de profiter.[98]

Дома, еще в дверях:

— Аля! Есть подарок мадмуазель.

———

A Mademoiselle Jeanne Robert pour notre Noлl russe — Ariane[99] — не магазинная, ибо не безымяная уже, коробка лежит под елкой, рядом с розовым свертком — d'Olugue (от Лелика). Скоро елка, скоро мадмуазель. Она была в России, но с тех пор (пятьдесят лет назад) была ли на русской елке? Кстати, озабоченные достачей елки — в последнюю минуту в цветочном магазине у станции — не удосужились освежить приглашения, и идет она не на елку, а на обычный четверговый урок, первый после ее (французских) каникул. Идет на урок, а попадет на елку. — И знаешь, Лелик, ничего не говорить, просто ввести. — Или сказать, что нынче занимаемся внизу. — Потому что наверху не топлено. Словом, мадмуазель на елке детям затмевает елку. (Так праведник ждущим ангелам должен застилать небо, на которое вовсе не знает, что попадет.)

— Сейчас, должно быть, будет. Без десяти? О, еще целых десять минут.

— Сейчас должна быть. Который час? Она никогда не опаздывает.

— Может быть, только сегодня приехала и потому запаздывает? А ты точно знаешь (дети друг другу), что именно сегодня первый урок?

— Она сказала 5-го.

— Но 5-ое вчера, почему же она вчера не пришла? Мне она сказала в четверг.

— А мне 5-го. Но четверг сегодня и значит она сейчас придет. Только ее два подарка и остались под елкой.

———

Дни шли, мадмуазель не шла. Сначала это тревожило, потом привыкли — к тревоге. Неприход мадмуазель, а не приходила она раз за разом, постепенно становился для всех обитателей павильона, больших и маленьких, припевом дня, то есть вещью с разом от разу утрачиваемым содержанием. (Самостоятельная, вне-смысловая жизнь припева.) Как сначала удивлялись, что мадмуазель не идет, так сейчас бы удивились, что мадмуазель — пришла. Удивление просто переменило исходную точку на точку приложения. Оттуда удивлялось. (Так, Райнер, мы все удивлялись, как такой может жить, теперь — умереть.)

Люди мало внимательны к глагольным формам, — font du sort sans le savoir.[100] От личных, перво — второ — третье — разовых, числящихся «мадмуазель не пришла» до хронического «мадмуазель не приходит» — какая работа и дорога. Мадмуазель просто поселилась в отсутствии, в которое (для нас) сначала случайно попала. Не было обеда или ужина, чтобы кто-нибудь из больших и маленьких, между тарелкой и тарелкой, тоном отстоявшегося уже удивления, не устанавливал: «А мадмуазель не идет». — И сразу, точно только того и ждали, по проторенным уже дорогам отзвука, хоровое. Может быть, заболела? Но тогда бы написала. Может быть, сестра заболела? Но тогда бы тоже написала. Может быть, до того одна, что и написать некому? Но тогда ведь и подать некому. Может быть…

Мадмуазель, где-то болевшая, набаливала.

Люди были все трезвые — (бабушка, тетка, дядя и мать мальчика, отец и мать девочки), люди, видавшие виды — кто в Советской России, кто в Армии, те и другие в эмиграции, люди —

и это главное — с той кровоточащей гордостью, по которой и узнают изгнанников, люди, заместившие себя детьми, свое сорвавшееся или надорвавшееся сегодня их — о, каким! — завтра, люди времени (вечного недохвата его) и посему — по всему — нещадные к детскому, люди, взявшие детское время на учет. А это время — кровное, детское — шло, дети, не без некоторого смущения, ибо хорошие дети — праздношатались, условно, конечно, — особенно для девочки, нянчившей младшего брата и уроки воспринимавшей, как отдых. Уроки повторялись и вновь забывались, книги выкладывались и вновь вдвигались. Мадмуазель не шла.

Дом как-то расслаб, размяк, никто — в пределах дома — никуда не торопился. — Молоко поставить, потому что сейчас мадмуазель придет… Столовую убрать, потому что сейчас мадмуазель придет… Голову помыть, да вот сейчас мадмуазель придет… За углями в подвал, а то мадмуазель придет…

Павильон был холодный, топленых комнат — две, и мадмуазель, приходами, все перемещала. Раз классная здесь, то столовая там-то, то швейная еще где-то и т. д. Прошло и кочевье.

Постепенно выяснилось, что маленькая, неслышная и невидимая мадмуазель (приходила с черного хода — тихо — и, как часто: «была мадмуазель?» — «да, уже ушла») — была двигателем и костяком этого большого, усложненного сожительством двух семей, волевого — ибо русского — павильона.

Что же делали эти люди со ставкой на детей? Шестеро взрослых счетом. Ничего никто. — Надо написать мадмуазель. — Сначала утвердительно, потом все вопросительнее и заведомо-несвершимее. Бесполезнее. Безнадежнее. Мадмуазель не уехала, она заехала. Не заехала, а исчезла.

Первой, кажется, сказала мать девочки, но — загадкой. Было так. Мать девочки брала в буфете нож (один из двух) и стояла спиной к тетке мальчика, над большим столовым столом лязгавшей ножницами. Поэтому последующий вопрос пришелся в спину.

— Так никто и не поехал к француженке?

— К француженке ехать — далеко!

— Ей не далеко, а нам — далеко? — в тоне тетки ехидство тетки покрывалось торжеством остроумца.

— Ей не далеко, а нам далеко, — подтвердила мать девочки, холодея от формулы.

— А все-таки надо бы, следовало бы, — пилила тетка, огорченная непопадением остроты и мало, на мой взгляд, ошеломленная неслыханной (в таком толковании) грубостью ответа.

— А все-таки надо бы, следовало бы…

— Когда-нибудь да… — но эти слова ею не были услышаны, ибо произнесены были во рту.

Так что первой все-таки сказала бабушка.

— Или она очень больна, или ее уже нет, — со спокойной грустью наперед и назад покорного такому — старого человека.

— Но «ее уже нет» все-таки не есть «она»… И первой все-таки сказала мать мальчика, в вечер того же дня, за французским обедом — русским ужином.

— Если она до сих пор молчит, она или очень больна — или она умерла.

И — дом проснулся.

Резонанс смерти, Райнер, думал об этом? В доме, где после долгой, требовательной, с ног сбивающей болезни, наконец, уснул. Теперь бы, кажется, тишине, и когда ж, как не теперь, тишине? Какое! Тут только и начинается!

Дом, где умирает, тих. Дом, где умер, громок. Первый мертвой водой полит по всем закоулкам, спит. Смерть в каждой щели.

В каждой выемке пола — ямкой. Один мертвой — полит, другой — живой — взбрызнут. Склянка с живой водой вдребезги, в каждом осколке, пусть ранящем — жизнь. В доме умирающего не плачут, а плачут — прячут. В доме, где умер, навзрыд. Первый

шум — слезный.

Lebenstrieb[101] смерти, Райнер, думал об этом? Тогда с ног сбились, теперь полны руки дела, но из двух, рук и ног, ведь руки тихи, а ноги громки. И что тише — двух рук, с водой, например? Но сама полнота их — как, чем, откуда? Ведь он именно сегодня в 5 ч. вечера вконец обезнуждел, «от всякое скорби, гнева и нужды», — наконец, домолился! Мне ответят (не ты, Райнер, другие): ему — нет, телу его — да. Полно! Разве каждый остающийся в тайне не знает, что священник, гробовщик, фотограф — только повод к нашим чешущимся по делу рукам, наше утвержденное, облагоприличенное: есмь! наше полное согласие жить. Мы не за умершего, мы за гробовщика цепляемся! В нашей торопливости снять умершего меньше желания сохранить его, чем желания подменить его — живые черты — снимком (живо терзание — воспоминанье о нем), чем уверенности, рано или поздно, забыть. Фотографический оттиск — наша подписка в забвении. Сохранить? Схоронить!

Отмежевыванье. Охаживанье. Что-то поправить, подвинуть. Перекраиванье, заботой, на прежний лад. Дикарство этой заботы. Почти что перед лицом alles geschehen — nichts geschehen.[102] И мои слова к тебе, Райнер, но по-иному. Nichts kann dem geschehen, der geschah. По-русски же; со свершившимся не случается.

Приручение неведомого. Одомашнение смерти, как тогда — любви. Обычное непопадение в тон. Наша, до смертного часа, косолапость в любви.

…Есть этому посмертному взрыву язычества еще одно объяснение, прощее. Смерть в доме умирающего, в доме умершего смерти нет. Смерть из дому уходит раньше тела, раньше врача и даже раньше души. Смерть из дому выходит первая. Отсюда, несмотря на горе, вздох облегчения: «Наконец-то!» Что? Не человек же, которого любили, — смерть. Отсюда — торжествовать ее уход, у тех, что попроще — тризна: объядение и опивание на поминках («не ест-не пьет» — так будем же есть и пить!), у нас, позжих, объядение и опивание хочется сказать — воспоминанное, передача и повторение — до отупения — до незвучания — до проторения — последних подробностей. Там заедание, здесь — заговаривание мертвого. Гро-могласие дома после смерти. О нем говорю.

И настоящая первая тишина (это нескончаемое полдневное

июльское шмелиное з — з — з — в ушах) раздается в доме только после выноса. Когда уж не над чем шуметь. Остаются, впрочем, поездки на кладбище.

А пока мы ходим по дорожкам, читаем надписи, препоручаем сторожу могилу и облюбовываем будущую собственную, смерть, пользуясь отсутствием…

Так прежние домовладельцы, прослышав, что новые на даче, приходят постоять, а то и побродить кругом да около…

———

Итак, дом проснулся. Из того, что он явно проснулся, стало ясно, что он спал: бабушкой, дядей, теткой, матерью мальчика, отцом и матерью девочки, самой девочкой, самим мальчиком, в течение целых трех недель всеми своими обитателями спал как заколдованный.

По тому, как дом ожил, стало ясно: она умерла.

— Мама, я нынче пишу француженке.

ПИСЬМО

Chére Mademoiselle,

C’est en vain que nous attendons depuis longtemps. Chaque lundi et mercredi, jeudi et samedi nous vous attendons et vous ne venez jamais. Mes leзons sont écrites et apprises, celles d’Oliиgue aussi. Avez-vous oublié notre invitation pour l’arbre de Noлl? Je crois que oni, parce que vous n’кtes pas venue chez nous l’avant-avant dernier jeudi quand nous avions notre fкte. J’ai reзu beaucoup de livres: Poimes de Ronsard, Oeuvre de Marot, Fabliaux, Le Roman du Renard, le Roman de la Rosй, et surtout la Chanson de Roland. Deux cadeaux vous attendent, d’Oliиgue et de moi.

Ecrivez-nous, chиre Mademoiselle, quand vous pourrez venir chez nous. Nous vous embrassons.

Ariane.[103]

———

— В тот вечер она была такая усталая, такая усталая. Все время хотелось сказать ей: «Да зачем Вы все это затеяли? И еще эти танцы… Отпустите нас всех, сядьте в кресло к огню, погрейтесь, отдохните». Ведь ни за что не хотела отпустить без танцев, книжки с картинками, угощение, танцы, — чтобы уж вся программа. И еще эти дамы в шубах, неизвестно зачем поналезшие, захолодившие ей всю квартиру — уж такую, такую холодную. Вы не знаете, что это был за холод. У нас холодно, но та — ам. Я весь вечер не могла согреться…

Мы медленно подымались по «мраморной полированной», мать мальчика и я. Лестница медленно подавала нас от площадки к площадке. На самом верху у большой черной двери — встали. Стало ясно, что дальше некуда. Дверей было две — правая и левая. Француженка жила за правой. Помолчав, постучали. Помолчав, постучали еще. Еще помолчали. Еще постучали. Стуки редели, промежутки между стуками росли. Сам же стук оставался на поверхности двери, не проникая по ту сторону ее, или, проникнув, поглощался тем, что за дверью, всей за-дверной пустотой (потусторонностью). Дверь не отвечала. Дверь отмалчивалась.

— Пойдем к консьержке — так ведь час можно простоять — спросим, может быть, — она что-нибудь знает? — не шепотом (как всякая странность — будит), а тем положенным вполголоса, каким спокойно говорят над спящими и другими.

— А может быть, сюда постучать? Левая сразу отозвалась, подалась, выявляя сначала керосиновую лампу, потом пожилое лицо женщины.

— Простите, сударыня, но не знаете ли Вы чего-нибудь о Mlle Jeanne Robert? Мы стучали, но там не отвечают. Очевидно, никого нет. Наши дети у нее учатся.

— Входите, входите, я так рада поговорить о ней. Двадцать восемь лет соседства.

Лампа отступила и, повернувшись вокруг самой себя, повела. Лампа, долженствующая es an den Tag bringen.[104] Старая женщина и мы, две, следовали.

— Да сядьте, сядьте, пожалуйста. Я не совсем понимаю, вы говорите — ваши дети?..

— Да, наши дети у нее учатся. Мы иностранки. Наши дети у нее учатся французскому и всему. Мы живем в Bellevue.

— Aυ, вот оно что. Je sais qu'elle prenait toujours le petit tram de Meudon.[105] Значит — к вам ездила? Чудесное место — Bellevue, мы там бываем каждое воскресенье.

— Да. И вот уже месяц, как мы ничего о ней не знаем. Она должна была быть на нашей русской елке, потому что наша русская елка после вашей. Тринадцать дней разницы… Были приготовлены подарки… — точно заклиная и забивая неведомое — достоверностями.

— Так она была приглашена на вашу елку? Как это мило с вашей стороны.

— Да, и не приехала, и мы ждем ее уже две недели. Моя дочь ей писала (совершенно упуская из виду, что письмо, написанное нынче утром, ни в каком, даже самом живом случае, не могло рассчитывать на ответ, — так это утром отстояло от сейчас) — моя дочь ей писала и не получила ответа. Что с ней, собственно?

— Mais elle est morte! — Et vous ne l'avez pas su??[106]

———

— 23-го, l'avant-veille de Noлl. Накануне она так много бегала, вверх и вниз, rien que son petit chвle sur les йpaules. «Mais vous allez prendre froid, Jeanne voyons!» et je lui tirais les manches sur les mains.[107] Все что-то покупала. На другой день ведь она должна была ехать к сестрам.

— Но накануне, 22-го, наши дети и вот эта дама, мать мальчика, были у нее в гостях. Да, да, именно 22-го. Она пригласила всех учеников, танцевала…

— Я об этом ничего не знала. Когда, в котором часу?

— Около четырех, а ушли около семи. Была очень оживлена. Ни за что не хотела отпустить без танцев. На другой день? Ничего не понимаю.

— Да, 23-го утром. От грыжи, — такая злокачественная

опухоль. Ведь она никогда не хотела носить бандажа, потому что нужен был бы врач, а она — вы меня понимаете — не хотела. Давнишняя грыжа. Так вы, идя сюда, ничего не знали? Простите тогда — de vous l'avoir annoncй si brutalement.[108]

— Так уже месяц, как она умерла?

— Месяц. Как раз сегодня. Вы говорите — она танцевала? Но, может быть, именно это-то ей и повредило. Танцы — при грыже — без бандажа…

— Но как же она умерла? Был кто-нибудь с ней?

— Никого, совсем одна. В третьем часу к ней зашла кузина — она иногда помогала ей dans son petit mйnage,[109] и Жанна накануне передала ей ключ — постучала, никто не ответил, вошла, увидела. Поперек кровати, совсем одетая, в шляпе и в перчатках, очевидно, готовая идти на урок — у нее ведь еще один урок был до отъезда, последний — Cette pauvre Jeanne! 64 года — ce n'est pourtant pas vieux. 28 лет соседства. On йtait amis, on se disait Jeanne, Suzanne[110]… И все эти несчастья!.. Вы, может быть, знаете? Сестра ее…

— Нервно-больная?

— Да, и это так сразу случилось, никто не ждал. И Жанне пришлось — une fille si intelligente, si courageuse — зарабатывать не только на двоих, — на троих, потому что третья сестра с той, больной, в деревне — c'et elle qui la garde, — а что в деревне заработаешь, особенно художнице, потому что третья сестра — художница, хорошая художница. Cela a йtй le grand coup de sa vie. Elle aurait pu se marier, ktre heureuse, mais…[111]

Но все же были и у нас… on a eu de beaux jours ensemble! On faisait la fkte.[112] Мой муж и зять музыканты, Жанна тоже музыкантша. Вы ведь видели два рояля в ее комнате? Один для нее, другой для учеников. Она ведь, собственно, учительница музыки. И вот, устраивались музыкальные вечера, Жанна — рояль, муж — скрипку, зять — на флейте. Между прочим, нет ли у вас знакомых, желающих учиться музыке? Я, на всякий случай, передам Вам карточку.

Такой-то

— Violon et flыte — Professeur a l'Opйra[113]

———

Mlle Jeanne Robert, ездившая к русской девочке Але, не спрашивая, на Вилетт или в Беллевю, Mlle Jeanne Robert, не знавшая ни грязи, ни дождя, Mlle Jeanne Robert, бравшая за часовой урок, длившийся два, в 1926 г., как в 1925 г., — 7 фр., считаясь не с «падением франка», а с его, франка, на нас, intelligence russe,[114] падением, Mlle Jeanne Robert, от ежемесячного конверта с деньгами — отшатывавшаяся: «Может быть, Вам сейчас нужно?» — и:

«Cela ne presse pas»[115]… Mlle Jeanne Robert, ездившая не поездом, а трамваем, и не до Беллевю, а до Медона, для того, чтобы нам, intelligence russe, сберечь четыре раза в неделю по 1 фр. 60 с., Mlle Jeanne Robert, при виде чашки кофе, с куском хлеба — пугавшаяся: «О, зачем? зачем?» и неизменно эту чашку выпивавшая, хлеб же, по нищенскому кодексу чести — оставлявшая, Mlle Jeanne Robert, певшая годовалому сыну эмигранта:

«V siйlй novom Vanka jyl»… — чтобы не забывал России, и ведшая имя Мур от Amour. Mlle Jeanne Robert, в прошлом году на мой русский вечер не только пришедшая, но пришедшая на него первая —

«Un moment j'ai cru entendre une marche. Etait-ce peut-кtre une poйsie sur la guerre? On croyait entendre marcher les troupes, sonner les trompettes, galoper les chevaux… — C'est que je suis musicienne, moi… C'йtait beau, beau!»[116]

Mlle Jeanne Robert, впервые перепутавшая день урока: одному в среду (5-го), другому 6-го (в четверг),

Mlle Jeanne Robert, так и не дождавшаяся новых перчаток — Райнер-Мария Рильке, доволен — Жанною Робер?

———

И, обращая к тебе слова, когда-то направленные тобою к другому —

denn Dir liegt nichts an den Fragenden,

sanften Gesichtes
siehst Du den Tragenden zu.[117]

———

P. S. Случайно узнала, что последняя книга, тобою читанная, называлась L’Ame et la Danse.[118]

То есть, вся последняя Jeanne Robert.

ВАНЯ

Умер русский мальчик Ваня. Впервые об этом мальчике я услышала этим летом, у моря, от его сестры. Я сидела на песке и играла со своим полуторагодовалым сыном. — А у меня есть брат, — неожиданно сказала моя знакомая, — почти такого же развития, как Ваш сын. Папа, мама, дядя, спасибо, пожалуйста… — Сколько лет? — Тринадцать. — Недоразвитый? — Да, и очень хороший мальчик, очень добрый. Ваня — зовут.

— Хорошее имя, самое русское и самое редкое, сейчас никто так не зовет, — сказала я, ограничивая отзыв именем.

Вторично о Ване я услышала от близкого мне лица, с сестрой Вани зашедшего в тот вечер к Ваниной матери.

— Я, когда шел, побаивался: как с таким обращаться? Играть? Странно как-то, что-то от ложного положения. Но он меня сразу успокоил: как только увидел — заулыбался, обрадовался: «Дядя, дядя!»

— А роста?

— Роста большого, как нужно. И совсем уж не так ничего не соображает, как я боялся. Няня стала собирать ужинать. «Ванечка, накрой на стол», — и накрыл, только тарелки перепутал, маленькие вместо больших. А няня, с укором: «Да что с тобой, Ванечка? Нешто эти тарелки? Ты сумасшедший, что ли»? Няня замечательная, всю жизнь ему отдала. Так и живут, мать, няня, он. Им живут.

Разговариваю о чем-то с его матерью, вдруг: «Дядя! дядя!» — оглядываюсь: зашел потихоньку сзади и глядит. И такая добрая, добрая улыбка. Я прекрасно понимаю, что он может быть радостью. От него, действительно, свет.

Прошел какой-то срок. И вот, в какой-то день, прошел слух, что Ваня заболел. Воспалением легких.

Слух поселился. Из Медона дуло. Дуновение шло из красного кирпичного дома, который я неопределенно знала, как Ванин. Шло по двум направлениям — к сестре, в Кламар, ко мне, в

Беллевю. Болезнь осела. Ваня, прикованный к постели, путешествовал.

Дни шли. Из Медона продолжало дуть. Вскоре болезнь невиданного Вани сделалась привычной, полагающейся, в порядке — нарушающих порядок — вещей.

— Как ваш брат?

— Да плох, температура держится, все время на камфаре… Камфару я знала по последним минутам отца и для меня она называлась — смерть.

— Посидите еще…

— Да нет, нужно к маме, брат очень плох. О матери и няне я думала не с состраданием, замещающим, а с страданием, незаместимым. Но думала отрывочно.

Поглощенная твоей смертью, Райнер, то есть приобщая к ней все, мною до сих пор претерпенные: гордую смерть матери, высокоумилительную отца, другие, многие, разные, — приобщая или противуставляя? — я, естественно, насторожилась в сторону Ваниной камфары.

Две комнаты с кухней. Кроватка. (Пусть большая, но раз «дядя» — все маленькая!) Упорядоченное, бытовой заботой и церковностью, отчаяние няни. (Какое — матери?!) Ужас того, что это Медон, а не Москва (В Москве бы…). Ужас недозволенных, непроизвольных мыслей о чужбинном кладбище… Завезли в Медон… Если бы не Медон… Если бы в тот день не взяли его в лавку… Если бы…

— Как брат?..

— Кроткий, хороший, лежит в кроватке совсем как маленький, — такой трогательный…

Последнее, что я знаю из жизни Вани — что он ел икру.

— А я сегодня ела икру. Брату давали, он не доел, я доела. Ничего не хотел есть, а икра вдруг понравилась… Мы все так обрадовались…

Икра мне напомнила предсмертное материнское шампанское, — ничего не хотела, шампанскому обрадовалась. Икра тоже называлась смерть.

— Завтра будете там-то?

— Да, не знаю, если не останусь с мамой. Брат очень плох, можно ждать всего…

Дня через два после икры, одна из обитательниц нашего павильона, входя с улицы:

— Все-таки умер г<уч>ковский мальчик.

———

«Две комнаты с кухней». Кроватки не видно, ничего не видно, кроме спин. Панихида идет без света. Стою на пороге прихожей и первой комнаты. Гроб точно за тысячу верст, недосягаем.

Звонки, все новые и новые провожатые.

Выход священника, создающего вокруг себя пустоту. Ту священническую, священную. Круг пустоты, создаваемый нечеловеческим. Передвигающийся круг. Никому не было места, стало — всем. Растяжимость сосуда или сжимаемость содержания? Отказ от насущного во имя того, излишка. Отказ от себя и всех во имя того, одного. И всем просторно. Только отказаться — всего много станет.

— Так я вам советую таких-то певчих… (говорит — священник).

— А почему не?..

— Лучше таких-то…

— Что, поют лучше?

В вопрошающем голосе настойчивость, которой страшусь, ибо не хочу слышать ответа.

— …А я, наоборот, слышала, что эти лучше…

— Поют-то хорошо, да… (Вот! Вот оно!)… Неприступны очень, а эти…

Целуюсь в полутьме с проходящими матерью и няней.

— Вы, ведь, пешком пришли? Устали? Посидите…

Без слез, с добротой.

(О русская прекрасная степенность горя!)

Почему не подошла? Ложный стыд, ложный страх слез над впервые видимым. Страх стыда и стыд этого страха. Хочется, чтобы все ушли, чтобы тут же, над ним, рассказать им двум о тебе, Райнер, о всем, что знаю через тебя. Знаю, что в эту минуту я, оставшаяся, им, остающимся, незаменима. Что место мое — незаместимо. И малодушно, как по-писаному, простившись, выхожу.

———

— Милый Ваня!

— так звучит не слышимое, а оглашаемое, так когда-то, на мое внутри-ротное, внутреннее: «Седое утро» — блоковское: «Седое утро» —

— Милый Ваня!

Если бы ты сейчас мог увидеть нас всех здесь собравшихся, весь этот переполненный храм, ты бы, наверное, спросил: «Какой сегодня праздник?» И мы бы ответили: «Твой, Ваня, праздник. Тебя празднуем».

Да, Ваня, ради тебя собрались мы сегодня в этом храме, в котором ты занимал самое скромное место. Твое место в нем сегодня главное. Как сейчас вижу тебя — вот здесь, слева, в уголку — твое скромное место было постоянным. Вижу тебя молящимся и крестящимся, вижу твое светлое лицо, с улыбкой… Ты был постоянным и верным посетителем храма, я не помню службы, на которой бы я бы тебя не видела. Правда, ты не всегда молился словами молитв, иногда ты забывал их, тогда ты молился своими словами, одним только словом: Боженька! Боженька!

И как ты любил этого Боженьку, как в него верил!

Когда тебе стало худо, ты попросил меня придти. Мне сказали, что в дом я пришел по твоему собственному зову. И вот, никогда не забуду, как ты, перед тем, как приступить к исповеди, чуть приподнявшись, слабой рукой своей подал знак, чтобы все присутствующие удалились. Вокруг тебя были только близкие — и какие уж такие были твои грехи? Но ты знал, что таинство исповеди происходит наедине, и чутким сердцем своим и здесь оказался верным сыном церкви. Немного ты мне и сказал, зато, по отпущении грехов, с каким счастьем, с каким сиянием на лице снова поднял руку, на этот раз призывая близких в комнату.

Милый Ваня, если бы ты сейчас со своей высоты мог видеть — да ты и видишь со своей высоты — нас всех, окруживших твой маленький гроб — видя наши слезы, наше горе, что бы ты, Ваня, сказал нам, захотел ли бы снова вернуться сюда? Нет, Ваня, ни ты, никто из узревших ту красоту уже не захочет на землю, и единственные слова, которые бы ты сказал нам, были бы словами благодарности. Благодарности родителям, окружившим тебя такою любовью, и особенной же — няне, с которой ты, так сказать, составлял одно целое:

— Спасибо тебе, скорбная старица-няня.

……

Помолись за нас.

———

Мать стояла в головах и — или чудится мне? — каждый раз приоткрывала лицо сына, что-то над ним приподымала, затем опускавшееся. Каждому заново. Зачем? Не проще ли…

Дело не в простоте, дело в том, что мать, явившая в мир — всем, в последний раз являла — каждому отдельно. После:

«глядите, еще не видели» рождения — «глядите, больше не увидите» погребения. Явив, скрывала (лицо в себе), вновь явив, вновь скрывала — все глубже и глубже — пока не скрыла, от всех, под крышкой гроба, пока не скрыла — от всей земли — в земле.

Мать брала сына обратно в лоно.

Была в этом жесте еще и простая материнская причастность.

———

Другое. Не плоть, не камень, не воск, не металл — другое. Из всего виданного — невиданное. Лица, которое передо мной, никогда не было. То, что здесь есть, не бывает. Из другого вещества.

Отличительные черты: неуподобляемость и невозможность привыкнуть. Не оторваться. Не притерпеться. Чисто внешняя (оттуда и смысловая) непроницаемость. Неделимость. Неразложимость. Ножом не разрежешь, топором не разрубишь. Лицо мертвого не слепок, а слиток.

Все концы со всеми концами сошлись. Средоточие.

Раз навсегда.

Ближе всего, конечно, воск, но куда — воску.

Что в ответ на здесь лежащее? Отказ.

———

Гляжу на руку и знаю — не поднять. Сколько жизнь весит — мы знаем, но это не жизнь, а смерть. Рука не свинцом налита, а смертью. Чистый вес смерти. Всей смерти в каждом пальце. Нужно поднять всю смерть. Потому и не поднять.

Это — глазами, под губами же:

Первое: не процелуешься. Не губы (жизнь) в лоб (смерть), а лоб (смерть) в губы (жизнь). Не я горячу, он холодит. Непроницаемость? Теплоупорность. Теплоупорность? Хладоизлучение. Буду стоять и греть, а он лежать и холодить. Такого холода в природе нет. В иной природе.

Прогреваемы: металл, воск, камень, все. Все отзывается.

Теплеет.

Лоб — отказывает.

———

Ваня Г<учко>в — восстанавливаю обратно в жизнь.

Первое: узость. Узкие скулы, узкие губы, узкие плечи, узкие руки. От того, что узко — не тесно. От того, что не тесно — радостно.

Светлота волос на лбу и, минуя все присущее не сущему — нежное, строгое отроческое лицо, которое в данную минуту читаю вспять: в жизнь.

———

Вот и все, Райнер. Что же о твоей смерти?

На это скажу тебе (себе), что ее в моей жизни вовсе не было, ибо в моей жизни, Райнер, вопреки Савойе, L'Auberge des Trois Rois и пр., и тебя не было. Было: будет, оно пребыло. — Ob ich an die Savoye glaub? Ja, wie an Himmelreich, nicht minder, doch nicht anders.[119] Это-то ты, наверное, помнишь?

Еще скажу тебе, что ни одной секунды не ощутила тебя мертвым — себя живой. (Ни одной секунды не ощутила тебя секундно.) Если ты мертвый — я тоже мертвая, если я живая — ты тоже живой, — и не все ли равно, как это называется!

Но еще одно скажу тебе, Райнер, — тебя не только в моей жизни, тебя вообще в жизни не было. Да, Райнер, несмотря на тебя и жизнь: тебя — книги, тебя — страны, тебя — местную пустоту во всех точках земного шара, всеместное твое отсутствие, полкарты пустующие тобой — тебя в жизни никогда не было.

Было — и это в моих устах величайший titre de noblesse[120] (не тебе говорю, всем) — призрак, то есть величайшее снисхождение души к глазам (нашей жажде яви). Длительный, непрерывный, терпеливый призрак, дававший нам, живым, жизнь и кровь. Мы хотели тебя видеть — и видели. Мы хотели твоих книг — ты писал их. Мы хотели тебя — ты был. Он, я, другой, все мы, вся земля, все наше смутное время, которому ты был необходим. «В дни Рильке»…

Духовидец? Нет. Ты сам был дух. Духовидцами были мы.

Если бы ты вошел в мою комнату год назад, я бы так же обмерла, как если бы вошел — нынче, больше скажу, нынче — меньше, чем год назад, потому что такой твой вход был бы… естественнее.

Три стены, потолок и пол, —
Все, как будто?
Теперь — являйся!

Это я тебе еще летом писала. Не от лица ли всех? Волей нашей, то есть всем трагическим недостатком ее, всем безволием, всей мольбой о всей твоей, закляли мы тебя на землю — и продержали на ней — до поры.

Ты был волей и совестью нашего времени, его — вопреки Эдисону, Ленину, пр., от Эдисона, Ленина, пр. — единственным вождем. Не ответственным монархом, а монархом Ответственности. (Так мы (время) когда-то передали себя, все свои вопросы, Гёте, сделали его — хотел или не хотел — своим ответом. Тебя — ответственностью. Потому и отдали: Гёте — свет, ты — кровь.)

«Und Körper nur noch aus Galanterie, um das Unsichtbare nicht zu erschrecken»[121] — так сказал ты о последних годах (оказалось — днях) своего тела. Больного или не больного — чьи это слова? не человека же!

Вспомни своего Мальте, как все, те, по всем улицам Парижа за ним ходили, почти что шлялись, вымаливая у него не все, а всего его. Так и мы за тобой — до поры. Вспомни Мальте, передававшего через стену, соседу, волю, соседу, которого в глаза не видал. Сосед ведь тоже не просил. Но Мальте-то вопль — слышал!

«Wer ist dein Nächster? Der dich am nothwendigsten braucht?»[122] — толкование ближнего на протестантском уроке Закона Божьего, пребывшее для меня предельным.

Мы все были твои ближние.

Признаньями, исповедями, покаяниями, вопросами, чаяньями, припаденьями, приниканьями мы тебя залюбили — до

язв на руках. Через них ушла вся кровь.

Кровь. Слово сказано.

Твоя Blutzersetzung (разложение крови) — которую я сначала не поняла — как! он, впервые после Ветхого Завета сказавший кровь, так сказавший кровь, просто — сказавший кровь! — не статья и доказывать не стану — именно он от Blutzersetzung — разложения, обнищания ее. Какая ирония! Не ирония вовсе, а моя первая, сгоряча, недальновидность.

Истек хорошей кровью для спасения нашей, дурной. Просто — перелил в нас свою кровь.

Остановка.

Знаю, что медицинская болезнь, от которой ты умер, лечится переливанием крови, то есть близкое лицо, хотящее спасти, отдает свою. Тогда болезнь — кончается. Твоя болезнь — началась с переливания крови — твоей — в всех нас. Больным был мир, близким лицом его — ты. Что когда спасет перелившего!

Поэзия ни при чем. «Только лишняя порча крови», «что зря кровь портить», — так говорит быт. Предел этого «зря» и «лишнего» — окончательная порча крови, то есть смерть. Твоя смерть.

Не прощая жизни оскорбительной приблизительности даты ее — 29-го декабря вместо 31-го, кануна, да еще твоего любимого тысяча девятьсот двадцать седьмого, благодарю ее, жизнь, за точность формы и наименования…

Райнер Мария Рильке, и это подтвердит каждый врач, умер от разложения крови.

— Перелив свою. —

———

И все-таки, Райнер, несмотря на великолепие твоей смерти, твоими справа- и слева-коечными соседями во мне есть и пребудут:

Mlle Jeanne Robert, учительница французского языка,

и Ваня Г<учко>в, кем-то обиженный русский мальчик,

и — отметая фамилии и даже первые буквы их — просто

Жанна — (вся та Франция)

и

Ваня — (вся Россия).

Ни имен, предельных, ни соседств, совершенных, я не выбирала.

———

Райнер Мария Рильке, покоящийся на скале Rarogne над Роной — без соседей — во мне, его русской любящей, покоится:

между Жанной и Ваней — Иоанной и Иоанном.

Bellevue, 27 февраля 1927

КИТАЕЦ

Почему я так люблю иностранцев, всех без разбору, даже подозрительных арабов и заносчивых поляков, не говоря уже о родных по крови юго-славянах, по соседству и воспитанию — немцев, по нраву и громовому р — итальянцев, не будем перечислять, — всех, без разбору? Почему сердце и рот расширяются в улыбку, когда на рынке заслышу французскую речь с акцентом, верней, один акцент с привеском французской речи? Почему, если мне даже не нужно капусты, непременно, магнетически, гипнотически беру у «метека» кочан и даже, вернувшись, второй, только чтобы еще раз услышать его чудовищное для французских ушей «мерррси», с топором рубнувшим «мадам», а иногда и просто: «До свидания, приходи опять». Почему, при худшей капусте, для меня метеков лоток непреложно — лучше? Почему рука сама, через лоток, жмет арабову, арапову и еще не знаю чью — лапу? Почему, когда на рынке ловкий «камло», сыпля словами и жестянками, превозносит французскую сардинку и поносит португальскую, я, оскорбленная, отхожу? Ведь не меня же ругали — при чем тут русские? Но ругая португальскую сардинку, меня, мою душу задели, и это она увела меня из круга туземцев более властно, чем ангел-хранитель за руку, или ажан — тоже за руку, хотя иначе.

Потому ли (так люблю иностранцев), что нам всем, чужакам, в Париже плохо? Нет, не потому. Во-первых, мне в Париже не плохо (не хуже, чем в любом месте, которого я не выбирала), во-вторых, моему рыночному другу-армянину, который молодых зовет «p'tite soeur»,[123] а пожилых «p'tite mire»,[124] и даже самую нарядную даму не зовет «Madame», в Париже явно хорошо. Значит, дело не в плохости жизни, и любовь моя не «camaraderie de malheur».[125]

А потому что каждому из нас кто-то, любой, пусть пьяный, пусть пятилетний, может в любую минуту крикнуть «метек», а мы этого ему крикнуть — не можем. Потому что, на какой бы точке карты, кроме как на любой — нашей родины, мы бы ни стояли, мы на этой точке — и будь она целыми прериями — непрочны: нога непрочна, земля непрочна… Потому что малейшая искра — и на нас гнев обрушится, гнев, который всегда в запасе у народа, законный гнев обиды с неизменно и вопиюще неправедными разрядами. Потому что каждый из нас, пусть смутьян, пусть

волк, — здесь — неизменно ягненок из крыловской басни, заведомо — виноватый в мутности ручья. Потому что из лодочки, из которой, в бурю, непременно нужно кого-нибудь выкинуть, — непременно, неповинно и, в конце концов, законно, будем выкинуты — мы. Потому что все мы, от африканца до гиперборейца, camarades не de malheur, a: de danger.[126] Потому что, если мы все под Богом, то на чужой земле еще и под людским гневом ходим. Гневом черни, одной — всегда, одним — всегда. Потому что стара вещь — вражда, и сильна вещь — вражда. Иностранца я люблю за то, что у него на всякий случай голова втянута в плечи, или — что то же и на тот же случай — слишком уж высоко занесена. Не «плохо живется», а плохо может прийтись. Мне скажут: «А у себя, в Москве?» Да, было дело, и не раз:

«Ишь, буржуйка, шляпу нацепила!» (Из глаз — ненавидящий класс.) — «А я зато в Москве родилась, а ты откуда взялся?» Ведь я, при всем моем превосходстве: стоянии над месторождением, отыгрывалась — им же! И этого довода «в Москве родилась», этой почвы из-под ног у меня никто не вырвет, даже если я, как сейчас, от нее за тридевять земель и запретов. Убьют — не возьмут!

Я сказала: camarades de danger. И все же — нет. Родина, в иные часы, настолько опаснее чужбины, насколько опаснее возможного несчастного случая — верная смерть. Смерти бежа, — побежали многие беженцы. Camarades de danger, но не физического. Страх оскорбления, а не смерти, нам всем головы втягивает, и вызов невидимому оскорбителю иным из нас головы заносит. Оскорбления, на которое в иностранцевом словаре — нет слов.

Camarades d'orgueil blessй.[127]

Пришла на почту отправить рукопись: печатными буквами, но рукой писанную, — ясно, что заказным письмом, то есть франка три, — рукой писанную, но печатными буквами, значит, может быть все-таки «imprimй».[128] Занятая этими сложными сделками со своей совестью и трусостью, упускаю начало предполагаемого рассказа и застаю его уже в виде прильнувшего к окошечку и оживленно жестикулирующего какими-то мелочами китайца.

«Дряй, дряй», — различаю я в тонкой и быстрой струйке его детского голосочка. «Что он говорит?» — почтовая барышня другой, по-французски. — «Это — японец (вторая), он говорит по-

японски». И раздельно, как двухлетнему ребенку: «Сколько стоит это?» — раскачивая перед его лицом какую-то яркую мелочь, оказывающуюся кошелечком. И, в ответ на его явное непонимание, еще сокращая, как годовалому: «Сколько — это?» — «Дряй, дряй, дряй!» — мельчит китаец. «Это — китаец, и он говорит три», — поясняю я прелестной, вцепившейся в кошелек почтарше. «Мадам понимает по-китайски и говорит, что три», — шепотом поясняет барышня своей не менее миловидной и вожделеющей товарке, откровенно бросившей свое окошко и выудившей с прилавка первого — другой кошелечек, не менее соблазнительный. «Я не по-китайски понимаю, а по-немецки, — честно поясняю я и, уже увлекшись филологией, — по-немецки — дрэй, а у нас — три. (Бровный вопросительный знак.) — Я — русская. Мы с немцами соседи». — «Так скажите ему, мадам, — почтарша с неизъяснимым волнением уважения, — что…» — «Русский? — вдруг, мне, китаец. — Москва? Ленинград? Харашо!» — «Так вы и по-русски знаете?» — я, бросив барышню, бросаясь к китайцу, радостно. «Москва была, Ленинград была. Харашо была!» — тот, сияя всем своим родным уродством. «Он знает Россию, — я барышне, взволнованно, — мы ведь соседи, это почти компатриот…» — «Скажите ему, пожалуйста, что два! два!» — сбитая с толку барышня, для вящей понятности поднося растопыренные пальцы уже к моему лицу. «Я поняла: два. (Китайцу:) Zwei. Два. Die Dame gibt zwei Franken[129]». — «Dutsch! Dutsch![130] Берлин! — расплывается в улыбку китаец, топя в ней последние остатки глаз, и, по мере ее сбегания, вновь прозревая: — Zwei — не-е, drei, drei». — «Он не хочет два, он хочет три, — докладываю я и, испугавшись, как бы не отослала его ни с чем. — Но может быть и уступит. Но, предупреждаю вас, c'est un chinois, ce sera long».[131]

Пока барышни, как птички в клетках, шепотом и щебетом совещаются, показываю китайцу браслет с левой руки: неведомую птицу, раскинувшую хищные крылья и не менее хищный когтистый хвост над встречным движением нам неведомого дерева, кажущегося ее водным отражением. «Хина! Хина!» — ликует китаец, деликатно потрагивая желтым пальцем массивное серебро браслета. «Купила у „хины“ — в Москве — в войну — Krieg». — «Война? Купил?» — тот, почти смеясь уже. Но даже если бы ты мог меня понять, дорогой почти-соотечественник, не рассказала бы тебе — как, ибо купила — вот как. Иду по Арбату и наталкиваюсь — именно наталкиваюсь, как на столб, на китаянку в голубом балахоне, редкую, лицом, уродку, всю в серебре. И так как отродясь люблю серебро, и отродясь люблю огромные кольца,

а сейчас (1916 г.) пуще всех колец — строки:

Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольцы…

И дальше, на простонародном старинном ы настаивая:

И я, в который раз подряд,
Целую кольцы, а не руки…

И так как это именно — кольцы, старинные, простонародные, огромные, — щитами, на которых можно написать все, — огромные, но на каждый палец, ибо не запаяны, а загнуты, я прямо к китаянскому носу рубль, тоже серебряный и еще огромнейший:

«Продашь?» — «Не-не-не-не», — китаянка, мелко и пронзительно, точно ее колют. Я, не вытерпев, молча, второе колесо рубля. Сторговались: я отдала ей все свои рубли, а она мне все свои кольцы, и с чистыми щитами, и с щитами, исчерченными, будем надеяться — заклятьями, а не проклятьями! Но, уже шагов пятьдесят пройдя, — блеск большого серебряного обода в глазах, блеск, переходящий в нестерпимый, от секунды к секунде растущий разгар ожога: осознаю, что не купила у нее прекрасного, с птицей, браслета, которого за суетней колец и рублей, как-то не дорассмотрела, не доосознала. Возвращаюсь — китаянки нет. Ищу на Арбатской площади, на Пречистенском бульваре, на Воздвиженке — исчезла.

Несколько дней спустя, на том же Арбате — глазам не верю — она! Первый взгляд на руку: он цел! (Да и кому тогда, во всей Москве, кроме меня, нужен был серебряный браслет?) Я — десятирублевую бумажку: «Продашь?» — «Не-не-не-не…» Я — еще пятирублевую, и маша ею перед вдавленным носом. «Да?» — лепет, — живое немецкое «lispeln»[132] — нечеловеческое: лиственное, точно совсем бессмысленное, точно не я не понимаю, а и нечего понимать, — точно кошка лакает из блюдца, и — цап мои бумажки! Теперь хочу браслет, но — о, удивление, негодование, отчаяние, похолодание — браслета не дает, не дает даже притронуться: «Не-не-не-не-не…» А деньги тоже уж «не-не-не» — исчезли: нет: проглотила, что ли? «Давай браслет!» — я, как умею, строго. Она, совсем закрыв глаза (лицо совершенно идольское) и зажав под мышкой браслетную руку, да еще прижав

ее Для верности другой (сейчас уйдет! сбежит! и остолбенев — уже остолбенела — я): «Не-не-не…» Но тут — кулак. Огромный безмолвный кулак. Оборачиваюсь — солдат. Солдат, стоявший и наблюдавший сцену. «Это — видала?» Да, увидела сквозь закрытые глаза, которые тут же раскрыла, так же как, торопливым и покорным жестом, на руке, браслет. Подала. Надела. «Ах ты, желтюга косоглазая! — солдат, уже для души замахиваясь, — Деньги — брать, а браслетку — жать? Да я тебя, такую-сякую…» — но нецензурный конец тонет в громком его хохоте, ибо китаянка уже бежит, быстрит, быстро-быстро, мелко-мелко, мелким бесом и бисером перекатываясь на неправдоподобно-крохотных своих болванчиковых китаянских ногах. «Ну и дура ж ты, прости Господи! барышня! Да рази так можно? С нехристями этими? Деньги давать допреж как вешш в руках. Пятнадцать, что ль, дала?» — «Пятнадцать» — «Видно, деньги твои несчитанные. Да я бы за такое, прости Господи (нецензурное слово) — и рубля, что рубля, и полтины…»

Птичий браслет на моей руке и поныне, заклятые кольца же, что-то особой удачи не приносившие, я в один особенно-неудачный день наотрез сняла: ведь если даже и не проклятые, — Бог их знает, почти-компатриотов, — может быть: что китайцу польза, то русскому — вред?

«Не-не-не-не… — лепечет китаец, — нэй, нэй!» — «Он не хочет два», — огорчается барышня. «Так дайте два пятьдесят». — «А что скажет мой муж?» — «Мужу скажете: два». — «Вы так думаете?» — «Да. Берите, а то я возьму, все возьму». Кошельки, как по мановению, с помощью еще нескольких рук, разобраны: ушел и чудный малиновый животастый мандарин, и разлатая — азалии? магнолии? — ветка, и паланкин, и рисовый обед. Мне достался — остался — последний, худший, и даже не китайский, а японский: две неприятно-тощие японки с гребнями и без всяких животов. Потом, по дружбе и без всякой надежды, роюсь в его заветном товаре: черных зеркальных шкатулках с щелчком — выскакивающим золотым аистом, подносящим папиросу, золотых кадильницах-курильницах, и — о сюрприз! — китайские папиросы в золотой коробке. «Сколько?» — я — китайцу. «Твоя — два». — «Хорошие?» — «Харош!» — зашивает щели глаз и выкатывает китайские яблочки ноздрей. «Что это?» — почтарша, заинтересовавшись. «Китайские папиросы. Дешево». — «Пахнет розой, — барышня, обнюхав, и, мечтательно: — Как, должно быть, приятно и необыкновенно-розовый табак». Я, работая на китайца: «Купите тоже!» — «О, нет, нет, муж курит только „Житан“, от

розового табака, вы знаете, мужчину стошнить может». — «Так попробуйте мою!» На лице у барышни — ужас. «Да что вы! Ведь это — ваши!» — «Потому-то и предлагаю вам (обращаясь к другой) и вам». — «Нет, — первая барышня твердо, — я не могу допустить, чтобы вы из-за меня портили вещь». — «Но ведь я их все равно открою!» — «Дома, при вашем муже — другое дело, но чтобы из-за меня…» — «Ну, сделайте мне удовольствие, — умоляю я, — я сама буду курить, все покурим, и китаец покурит». — «Я вам бесконечно благодарна, но это невозможно», — барышня, для пущей убедительности отъезжая вместе со стулом вглубь. «Тогда открою — я!»

Открываю, и — о, изумление! — вместо стройного ряда белых или хотя бы «розовых» папирос, — мозаика черных друг в друга вжатых шершавых треугольников. Я, неуверенно протягивая: «Но как же это курить?» Барышня, вертя между пальцами, с внезапным вскриком:

«Но ведь это уголь! (Показывая замшево-черные пальцы:) Смотрите! — Строго, китайцу: — Что вы продали Madame?» Китаец, шумно втягивая воздух носом и изображая на лице блаженство: «Харош!»

«Да ведь это для курильницы, — подошедший почтальон, — у моей тещи как раз такие же. И очень даже хорошо пахнет, когда зажечь». — «И у меня есть китайская курильница, — не без гордости, барышня, — только никогда не зажигали». — «Так возьмите!» — «Что?» — «Уголь возьмите — к курильнице». — «Но мой муж…» — «Даром возьмите, сделайте мне это одолжение, что же мне с ним делать, у меня же нет кадильницы, в плите, что ли, жечь вместо boulet?»[133] Шутка удалась, общий смех, но рука все еще не решается. «Да берите же, — знаток-почтальон, — Madame — русская? Я знаю русских, они делают все, что им приходит в голову, и не терпят, чтобы им противоречили. Правда, Madame?» — «Совершенная, — серьезно подтверждаю я, — и больше того: когда им не дают делать того, что им приходит в голову, они эту голову — теряют (ils perdent la tкte) — поняли?»

И, вложив окончательно оробевшей барышне в руку «розовый табак», выходим — китаец, мой сын и я. На перекрестке, исполосованном автомобилями, долго ждем. «Не-не-не», — китаец, мотая головой на машины. Наконец перешли. Ему вправо, мне — влево. Прощаясь за руку, отмечаю, что жмет, как мы, жмет, а не отсутствует, как французы. И, уже несколько шагов пройдя:

«Э-э-э-иэ-иэ-иэ…» — какое-то — слабое хотя, — голошенье. Оглядываюсь: он, желтый, лошадо-волосый, бегущий, чем-то машущий: цветком на палочке, который сует в руку моему сыну:

«На, на, моя — твоя…» Я: «Бери же, Мур. (Китайцу:) Спасибо. Сколько?» Он, маша уже пустой рукой и сотрясаясь от беззвучного смеха: «Не-не-не-не… твоя дала, моя дала… моя дала, моя твоя дала… ла-ла-ла-ла…» И, вознося в небо деревянное изделие своего лица: «Харош русск!.. Харош — Москва!..»

«Какой хороший китаец, — сказал мальчик, пыхтя над игрушкой. — А почему почтовая барышня так боялась взять у вас уголь». — «Потому что здесь незнакомым — не дарят, а если дарят — пугаются». — «Но китаец ведь тоже незнакомый… — и удачно раздув рябую плиссированную бумагу в не то цветок, не то птицу, не то грушу, не то дворец: — Мама, а насколько китайцы больше похожи на русских, чем французы».

<1934>

СТРАХОВКА ЖИЗНИ

Сидели, мирно ужинали, — а может, и обедали, дело слов, ибо салат все тот же, — итак, сливая русский ужин с французским обедом в римском салате, — ели: отец, мать и сын.

— Мама, а какие французы обильные, — вдруг сказал мальчик.

— Это не французы обильные, это русские обильные! — горячо сказала мать. — И вообще, так скорей принято говорить о странах.

— По-о-чему? — изумился мальчик. — Как страна может быть обильной? У нее же нет рук.

В эту секунду раздался стук в дверь, и мать, не успев распознать очередного сыновнего словесного метиса (habil'ный[134]), пошла открывать. На пороге, в полной тьме площадки, стоял кто-то очень высокий, с шляпой в руке.

— Извините, сударыня, — сказал он молодым голосом, — я — инспектор…

Мать, отступив, тем — впустила. Молодой человек по ее пятам шагнул в кухню, где и стал — между обеденным столом, посудным столом, газом, плитой, раковиной и стульями обедающих — вроде как бы на единственной сухой от прилива и твердой между пропастями пяди: одной ногой, перекинув через нее вторую, левую.

— Да? — не подымая глаз, спросила бровями мать, уже усевшись за салат.

— Простите, что я нарушаю ваш обед, но я инспектор и…

(«Налог! — мысленно произнесла она. — А ведь недавно вносили, или, может, опять вспомнили похищенного генерала и стали переписывать всех русских?»)

— Вот моя карточка, — продолжал молодой человек, поднося к ее глазам и тут же от них отымая (так детям на секунду показывают завтрашний «сюрприз» — распахнутую книжку с

какой-то фотографией, может быть, действительно похожей, если бы она успела рассмотреть, во-первых, ее, во-вторых, подающего).

«Но почему же он не говорит Syretй[135] и не показывает знака? — подумала она, мысленно проделывая за него жест, открывающий знак. — И за что же нас арестовывать, наконец?»

— Assurance,[136] — точно в подтверждение прозвучал над ней его голос.

Услышав наконец роковое (ибо принятое за Syretй) слово, она перестала есть и стала ждать.

— Я иду в Нюельмон, — продолжал сверху голос, — и осматриваю квартиры с точки зрения пожара.

(«Господи! — пронеслось у нее в голове. — А у меня плохой электрический шнур, весь в узлах и с постоянными взрывами! И что такое Нюельмон?»)

— Вы, кажется, не понимаете по-французски, — осведомился он, этим доводя до сознания присутствующих, что они с самой секунды его входа, в ответ на все его речи, не только не произнесли ни одного слова, но даже слога, так что он законно мог бы спросить: «Вы, кажется, лишены дара речи?»

— О нет! — воскликнула мать, задетая за живое, и от этого, действительно, оживая. — Мы отлично понимаем. Но, простите, что вам от нас нужно?

— Вы спрашиваете, что мне от вас нужно? — продолжал голос с усмешкой. — Я же вам сказал: я прохожу в Нюельмон.

«Безработный! — подумала она. — Очевидно, идет к себе в Нюельмон и по дороге осматривает печи. Нужно дать». И, вскинув наконец глаза:

— Мы не очень богаты, — робко сказала она, — и печи у нас вычищены, но мы все-таки… — и тут же осеклась, потому что поняла, что видит над собой молодое, красивое, румяное, чисто выбритое и чисто вымытое, вовсе не безработное, а еще менее — печниково — лицо, под которым, по обратному пути глаз в тарелку, удостоверила и новый вишневый галстук, и чистый серый костюм.

— Так это именно для бедных! — оживился нюэльмонец. — Богатым — что! Хоть вся их семья перемрет, — их жизнь от этого не нарушится. Это именно для неимущих, живущих трудом своих рук.

— Но что такое «это»? — приободрясь, спросила она.

— Страховка жизни, — разве я вам этого не сказал? — И, с новыми силами: — Я прохожу в Нюэльмон (и вдруг она поняла, что никакого Нюэльмона нет, что есть annuellement,[137] последний слог которого он произносит «мон»), — и больше всего стараюсь заинтересовать своим предложением именно малоимущих, живущих трудами рук своих.

(Переводя глаза на тонкие, с длинными пальцами, руки мужа:)

— Ваш муж — художник?

— Нет, — выдавил муж.

— Нет? — удостоверился он у жены.

— Нет, — подтвердила жена.

— Любопытно, — задумался он, — я был уверен, что он художник. Я, вообще, буду говорить с вами, потому что ваш супруг имеет вид не понимающего по-французски. Итак, это именно важно для живущих трудом своих рук. Представьте себе, Madame, что вы имеете несчастье потерять своего мужа, — развязно, точно говоря не о здесь присутствующем, явно живущем и жующем муже, а о каком-то аллегорическом лице, которого та никогда и в глаза не видала и потерять которого, посему, никак не может. — И останетесь одна, с тремя малолетними детьми, младшим — грудным.

— У меня нет грудных детей, — ответила она, — мальчику, которого вы видите, девять лет.

— Но у других есть, вы же не можете сказать, что у других их нет, — ласково (так урезонивают успешного, но завравшегося ученика на экзамене) поправил инспектор. — Я знал одну женщину, у нее было шестеро малолетних, и когда ее муж упал со

стройки…

— Ох! — вскрикнула она, содрогаясь от этого ужасного видения. — Какой ужас! С высока упал?

— Да, с седьмого, — подтвердил инспектор, утверждаясь на второй ноге, — и я сам выдал ей премию. Вы думаете — она не была рада?

— Какой ужас! — вторично и совсем по-другому воскликнула слушательница. — Какой ужас — радость таким деньгам!

— Но у нее были дети, — наставительно продолжал инспектор, — шестеро малолетних детей, и она не смерти их отца радовалась, а их благополучию. И если бы вы, Madame, имели несчастье лишиться своего мужа…

— Слушайте! — воскликнула она. — Вы уже второй раз говорите мне о смерти моего мужа. Это противно. У нас так не делают, при живом. Мы — иностранцы, я даже вам скажу, что мы — русские, и (уже на ходу, переходя в другую комнату за папиросами) русские своими ушами таких вещей слышать не могут, русские могут слышать только про свою смерть. Да!

— Madame, — звучал уже из коридора голос молодого человека, — вы меня не так поняли, я вовсе не хотел сказать, что вы непременно потеряете своего мужа, я только хотел сказать, что это с вами, как со всякой, может случиться.

— Теперь вы это говорите в третий раз! — взорвалась молодая женщина, уже куря и идя прямо на него и этим водворяя его в кухню. — И я этого больше слышать не хочу. Если это — страховка жизни, объявляю вам, что я чужих жизней не страхую.

— Но если Monsieur сам бы застраховал свою?

— Ни чужих, ни своих, это у нас не в крови, а кроме того, у нас нет денег, мы должны переезжать на другую квартиру, и…

— Но мое предложение как раз и рассчитано на лиц, переезжающих на другую квартиру. Во время квартирного переезда тоже могут быть несчастные случаи: стоявший шкаф, например, — шкаф, стоявший двадцать лет, — зеркальный шкаф, вы меня понимаете? — внезапно падает, и…

(«Какой ужас! — и она даже закрыла глаза. — Именно наш шкаф, данный нам именно за нестойкость…»)

— Мы не боимся падающих шкафов, — твердо сказала она, — мы, конечно, все делаем, чтобы шкаф не упал, но когда шкаф — падает, это — судьба, понимаете? Так вам ответит каждый русский.

— Русские всегда говорят «нет», — задумчиво сказал молодой человек, покачиваясь в коленях, — в Медоне (я живу в Медоне) есть целый русский дом, который не говорит по-французски. Стучишь в дверь, выходит господин или дама и говорит: «Niet». Тогда я сразу ухожу, потому что знаю, что меня не поймут. Да, не часто меня понимают так, как вы, Madame. И, чтобы возвратиться к страховке…

— Лучше не возвращайтесь! — горячо и сердечно воскликнула она. — У нас все резоны не страховаться: во-первых, мы совершенно бедны и, все равно, не будем платить, предупреждаю вас, как честный человек, — вы будете ходить и ничего не будете получать, вы будете писать, и мы никогда не будем отвечать, — во-вторых, а для нас во-первых, — это нам, моему мужу и мне, претит одна мысль о деньгах за смерть кого-нибудь из нас.

— Monsieur думает — как вы? — спросил инспектор. — Он как будто не понимает по-французски.

— Он отлично понимает и думает совершенно как я. (И, чтобы как-нибудь загладить, рассеять:) Может, — когда мой сын вырастет и женится… Но мы — другого поколения, лирического поколения… (И, видя, что на этот раз он не понимает:) Мы — «сантиментальные», «суеверные», «фаталисты», вы, наверное, уже об этом слышали? Про bme slave?[138]

— Да, я даже такой фильм видел с матерью. Старый русский генерал dans un bonnet d’astrakhan[139] венчается в огромном храме и, заметив, что его молодая жена любит бедного офицера, тут же один уезжает в Сибирь, бросая ему из саней свой кошелек. Моя мать даже плакала… (И, после долгого раздумья:) Ваши чувства делают вам честь, и будем надеяться, что ваш сын будет вас радовать. У него всегда такой аппетит?

(«Нужно предложить сесть, — в который раз мелькнуло у нее в голове, — ведь сейчас это — гость, но куда поставить стул? Или уж — папиросу…»)

— Я пятнадцатый сын, — задумчиво и совершенно уже другим, сновиденным каким-то голосом продолжал инспектор, — а после меня было еще двое. Мне двадцать шесть лет, а моей матери пятьдесят два года. У нее было семнадцать человек детей, и два воспаления легких, и ей два раза взрезали живот, и даже три, потому что второй раз забыли в нем простыню… А выглядит она моей сестрой, и она так же стройна, как вы. Мы иногда с ней смеемся и шутим.

— Как хорошо — семнадцать! — с неубежденным жаром воскликнула собеседница. — Все живы?

— Нет, только я жив; последний брат — ему было тридцать четыре года — в прошлом году разбился в автомобиле о дерево.

— А… другие? — робко спросила она.

— Другие? Все от несчастных случаев. Тонули, падали, иные — сгорали живьем (il y en a qui sont brыlйs vifs).

(«Жанна д'Арк», — еле слышно произнес мальчик.)

— …И вы понимаете, что я не могу жениться? Что я это сделаю возможно позже, возможно позже… Мать — просто не сможет… О, нас очень сурово воспитывали, и, если бы я сейчас осмелился возразить отцу, я бы, конечно, получил пощечину, и я бы ее принял. Моему отцу шестьдесят два года, и он весит сто пять кило.

— Но ваши родители, наверное, не парижане?

— Нет, парижане, то есть мать — парижанка, а отец — нормандец. Посмотрите на меня, я ведь не так уж мал (он все время высился над ней, как башня), а я еще из всех нас — самый неудачный. Другие были — великаны! Но так как уцелел именно я, я и не должен жениться, ни жениться, ни погибнуть от несчастного случая, ибо если бы я ушел, — ушли бы трое… А мать вашего роста и вашего сложения, но у таких матерей и бывают такие сыновья. О, вы не знаете мою мать, она каждый раз, как поздно бы я ни вернулся со службы, — несчастные случаи,

ведь, во все часы! — в десять часов, в одиннадцать часов, в двенадцать часов, в один час, — встает и греет мне обед. Вот сегодня она выйдет мне навстречу в Issy-les-Moulineaux. Разве я могу жениться? Мне двадцать шесть лет, и я ни разу, понимаете, ни разу, не пошел без нее в синема и не проехался на пароходике. On prend tous ses plaisirs ensemble.[140] Разве я могу жениться?

— Вы — чудный сын! — от всей души воскликнула она, невольно переводя глаза на своего и точно спрашивая. — Дай Бог здоровья вам, и вашей матери, и вашему отцу!

— Да, здоровье мне необходимо, мне уходить — нельзя. Будем надеяться, что и ваш сын будет вас радовать. Чем ты хочешь быть, мальчик?

— Service militaire,[141] а потом авиатором.

— Нет, авиатором быть нельзя, — твоей матери слишком часто пришлось бы смотреть в небо, а несчастных случаев достаточно и на земле. Вот военная служба — другое дело. Хорошая пора, лучшая пора, таким счастливым ты потом уже никогда не будешь… Итак, Madame, желаю вам счастья в вашем сыне. И простите, если я чем-нибудь задел ваши чувства… Вы любите своего мужа, у вас очаг, вам страховка так же не поможет, как и мне, я теперь вас понял…

И, нажав, на этот раз, ручку двери, на которую столько раз уже, беспоследственно, клал руку, с глубоким поклоном:

— Благодарствуйте и простите.

— Вы с ума сошли! — взорвался муж, зверем выскакивая из-за стола. — Я из-за вас всюду опоздал!

— Почему же вы не вышли? — спросила она, сама сознавая лицемерие вопроса.

— Почему? Да потому, что вы с ним загородили дверь, я как в западне сидел.

— А я нечаянно съел весь помидор, простите, мама, я так заслушался, что съел и вашу часть. — И, приставляя к губам носик чайника: — Ох, пить хочу! Вы знаете, он так говорил, что у меня в горле пересохло…

Стук в дверь.

— Простите, Madame, я только еще хотел вам сказать, что сегодня иду с матерью в кинематограф…

Проводив мужа, то есть получив в руку, вместо руки, ручку захлопнувшейся за ним двери, и уложив сына, пошедшего в постель, как камень ко дну, и только тогда, да и то не сразу, придя в себя, — во всем этом была напряженность сна, и сердце ее билось совершенно как у того, летевшего со стройки, — она встала к столу и на обороте первого попавшегося конверта высчитала, что пятнадцатым он, двадцатишестилетний, у пятидесятидвухлетней матери мог быть только при условии, что она вышла замуж пятнадцати лет и рожала своих семнадцать человек сыновей одного за другим, без единого дня перерыва. Бывает… С трудом, но — возможно… И уже гораздо возможнее, если три раза, например, близнецы (которые, конечно, и погибали парами: двое сразу утонуло, двое сразу упало, двое сразу сгорело, — тогда и смертей меньше)… Но, все-таки, чтобы все, все семнадцать минус один он, погибли от несчастных, таких разнообразных, всех имеющихся налицо случаев… Учитывая при этом одновременную развязность и официальность тона, которым он это сообщил, точно говоря наизусть прейскурант… И сравнивая этот голос с тем, которым он говорил о матери, той, что выйдет к нему навстречу в Issy-les-Moulineaux.

Что это, вообще, было? Она не знала. Но даже, если в приливе странного вдохновения, тут же все это выдумал, — разве не умилителен этот миф о себе, семнадцати-сыновней матери последнем уцелевшем, безумно преданном сыне? Разве это не мечта о себе — лучшем, себе — настоящем? Не вопль настоящей profession manquйe![142] Не вся потенция сыновности?

Двадцати шести лет, будучи высоким, красивым, на собственный взгляд, да и на всей парижской улицы взгляд, — неотразимым, рассказывать чужой, не старой еще, женщине, — да и вовсе молодой во тьме коридора! — что до сих пор получает от отца пощечины и охотно их принимает. Разве это мечта современного молодого человека? И даже — старинного молодого человека?

Может быть, — думала она дальше, — не ручаюсь… Может быть, и семнадцати человек детей никаких не было, может быть,

раз их не было, и семнадцати смертей не было, может быть, и нормандского отца, дающего пощечины — каждая в сто пять кило весом! — не было, может быть, — и, кажется, верней всего, и в этом, кажется, всё, — отца вовсе не было.

Но мать — была.

Июнь 1934

ЧУДО С ЛОШАДЬМИ (Достоверный случай)

Она была красива и глупа, и тем более красива, чем более глупа, а он любил ее и ему нечего было дать ей кроме вакантного комиссарства. И тогда он сделал ее комиссаршей цирков.

И вот красавица Нина стала председательствовать на очередных и внеочередных заседаниях с красивым младенцем на руках. Когда ей приходилось говорить речь, то она вручала его соседу слева (со стороны сердца) — наезднику-венгру, хотя и менее могущественному, чем сосед справа, но зато более молодому. Соседа слева предпочитал и младенец, так как у того не было бороды. Но любил он и всесильного соседа справа за предмет, именуемый «пенсне», сверкающий и покачивающийся меж доверчивых от близорукости глаз. Младенец щипал за нос комиссара и дергал за красивый чуб венгра, при таких при двух няньках мужского пола у смышленого ребенка было два любимых занятия.

А что в это время делал ее муж? Ведь есть и муж в нашем рассказе. Муж пребывал вне этого действа, на другом конце города, на лужайке перед бывшим особняком бывших графов С<оллогубов>, ныне «Дворцом Искусств». Он сочинял стихи, вернее пережевывал мысль об их сочинении: вот когда-нибудь у него появится время, вдохновение и т. д., в один прекрасный день, когда «всему этому придет конец». Но не было «этому» конца… И Нинин муж правильно делал, что пребывал вовне, на другом конце города, потому что у младенца, занятого пенсне и чубом, не было ни лишней руки, ни интереса к его рыжей бороде. А нужно сказать, что у Нининого мужа борода была рыжая, борода, которой он не мешал расти, как Господь не мешает расти траве, но которая вырастала быстрее и длиннее травы. И представьте картину: рыжее на зеленом, огонь на изумрудном — борода на траве. Это — муж Нины в мечтах. Он мечтал и потягивал влагу прямо из бутылки — ведь Революция перебила все стаканы, а Реставрации, которая бы всё возместила и залатала, еще не было. Пил он, как младенец пьет молоко, и столь же — даже более — жадно. Казалось огненная борода возбуждала в нем жажду. Затем, когда бутылка опутошалась, Барбаросса,[143] как истый сын богатого русского купца, огорчался её пустотой, раскаивался в содеянном и принимался

молитвенно шептать. Какие молитвы? Все. Даже за упокой. Если же солнце слишком припекало, он уходил через маленькую дверку в бывшую домашнюю церковь бывших графов С<оллогубов>, превращенную в Музей Культа, директором и единственным посетителем которого он состоял, и там часами возился с иконами и крестами всяческих размеров.

Под вечер Барбаросса сменял травяной ковер и солнцепек на обыкновенный стул и одинокую свечку и, сидя за столом перед бутылкой, которая как только пустела — наполнялась, и как только наполнялась — пустела, рассказывал всем, кто его слушал, одну и ту же историю, единственную в его жизни историю: о похищении им красавицы Нины.

— В Крыму, друг, знаешь, ночи черные и не видать ни капли («буль-буль» из бутылки). А дороги, ты себе представляешь, все идут вниз… (жидкость в бутылке тоже неуклонно шла вниз)… конечно, есть которые и вверх, то они ведут на макушку горы, ужасающую скалу, с орлом на вершине, что выклевывает глаза. Значит, непременно надо было выбирать те, что ведут вниз, ежели решили попасть в, … и не помню теперь, куда. В общем туда, откуда можно уехать, коли я ее похищал. Тут я догадался: те, что идут вниз — смекаешь? — ведут к морю, а те, что вверх — понимаешь? — в горы. А ежели мы решили сесть на пароход, то непременно надо было к воде… Но шофер был страшно пьян… Страшно… пьян. А машина неслась… С Ниной внутри… И Нина уносилась, ради меня бросив отца с матерью… (Умиление, долгое «буль-буль».) Так вот, машина уносилась с Ниной, которая уносилась, внутри… И ты себе не представляешь, как неслась машина! А ночь черным-черна, а дорога убегает, и колеса не поспевают, и шофер пьян, пьян, как черная ночь!

Чем быстрее неслась машина его рассказа, тем медленнее становился рассказчик, чем быстрее становилась история — тем больше историк ее сокращал.

— Представляешь… с Ниной внутри… А машинист пьяный… Ночь … черная… Везде рытвины — как будто нарыты… Неслась… Неслась… И машина во весь о-……пор. Так с открытым для последнего слога ртом рассказчик засыпал.)

В это время Нина, парадная и нарядная, положив одну руку с растопыренными от колец пальцами на руку всесильного человека, бросала другой через красный край ложи красный

цветок наезднику-венгру, вновь покрывшему себя славой, цветами, улыбками и путом.

А смышленый младенец лежал в глубине ложи и спал.

———

Каждое утро мы, малые сии, занесенные в бывший вельможный квартал, с восторгом следили за Ниной, подобно восходящему солнцу проплывавшей между рядами столетних лип в желтом кабриолете, влекомом двумя желтыми лошадками.

Кабриолет был о двух огромных колесах, которые вращались, точно солнца. Поэт сказал бы: — Колесница Авроры.

Мы же говорили: — Смотрите, комиссарша цирков. Или: — Смотрите, жена Барбароссы… И все, поэты и непоэты, высказывали глубокую мысль: — Везет же человеку: в такие времена иметь одной — десять ног…

Не завидуя, ибо мы, скифы — или сарматы — или славяне (невольники, татары, варвары) — словом, русские, не завистливы, мы утешались тем, что красота проплывает хотя и мимо, но рядом с нами.

(Да и что бы я, вызвавшая это видение, делала на моем доподлинном чердаке поэта с двумя желтыми лошадьми, двумя, тоже желтыми, колесами, мужем в рыжей бороде, комиссаром в «пенсне», рыжим наездником-венгром и неизвестно чьим младенцем? Нет уж, пусть всё остается на своем месте, а мы — на своем!)

Итак, каждым утром Поварская превращалась в языческие небеса, а Нина — в Аврору.

Но на той же улице, в милой, большой, круглой и очень старой белой церкви, посвященной братьям и князьям-мученикам Борису и Глебу, непременно, каждое утро старый упрямый священник совершал богослужение.

И так же каждое утро красноармейцы прямо перед этой же белой церковью давали ответ на богослужение— строевым топотом и оркестром.

Воскресное утро солнечного мая. Вся голодная Москва высыпала на улицу, чтобы вкусить запах лип, испить синевы и, в особенности, вдохнуть музыки, той полковой музыки, которая непременно действует умиротворяюще, как и вид красивой лошади или двух красивых лошадей, особенно желтой масти, особенно управляемых — если не мастерской рукой их содержателя, то, во всяком случае, — рукой содержанки.

Но что это сегодня с нашими двумя желтыми лошадками? Уж не воспылали ли они от бороды Барбароссы? Или липовый дух закружил им головы? Вместо того чтобы остановиться у Дворца Искусств, рядом с автомобилем, ожидающим всесильного человека, который занят утренним визитом, они вырываются на Кудринскую площадь и все резвее и резвее бегут по кругу, по кругу, оббегая площадь, и не слушаются уже ни истошного крика, ни вожжей в уже слабеющих руках Нины.

Кружитесь, кружитесь деревянные лошадки! Но лошадки не деревянные должны бежать прямо. А эти — взбесились они, что ли? — кружатся с занесенной на сторону шеей, метут рыжей гривой по старым булыжникам старой площади, не щадя ни кабриолета, ни наездницы, что стоит на одеревенелых ногах, с судорожно вытянутыми руками и разметавшейся, пуще лошадиных, гривой.

Быть беде! Быть комиссаршей цирков, бросать цветы наезднику-венгру, пестовать младенца, может быть, тоже венгра — все это еще не значит быть венгеркой или хотя бы наездницей.

Поэт из Дворца Искусств восклицает: «Адская скачка!» Художник из того же «Дворца» произносит имя — Фаэтон. Народ, который, как всегда и всюду, бездействует, выводит своё: «Накрылась, Нина!» Всесильный человек демонстрирует свое бессилие… Наездник-венгр — свое отсутствие… И вдруг на выдохе — крик: «Барбаросса!»

Он, Барбаросса, рыжебородый, воистину воскресший из своей травяной усыпальницы, Барбаросса во плоти и в бороде выскакивает нечеловеческим прыжком с огромным серебряным крестом в руках, который он возносит прямо перед лошадиными мордами и потрясает перед ними, круто остановившимися. Да, они, лошади, круто останавливаются, но это еще не все: они опускаются на колени. Обе, причем грациозно, по-человечески. И это еще не все: они кланяются. Кланяются благородно, по-

человечески, а в это время комиссар и Барбаросса принимают в свои объединенные, вернее разведенные, руки Аврору, струящуюся слезами и уже искрящуюся улыбкой.

А у народа — у нас, у тех, кто без-завистны, тех, кто без-ироничны, у народа лишь вырывается: «Чудо! Разве можно говорить, что Бога нет, раз даже лошади в него веруют?»

Увлеченная и сама гонком событий, вернее событием гона, я не сразу заметила, что окончание бега лошадей совпало с окончанием музыки — торжественного и ежедневного марша тех былых, еще близких им времен, когда они были простыми цирковыми лошадьми и им не надо было тащить кабриолет с восседающей комиссаршей.

Но если в прежнее времена их поклоны предназначались публике, то не могли ли нынешние поклоны — ввиду чрезвычайности обстоятельств — предназначаться Богу?

И так как лошади все еще кланялись — мы зааплодировали.

<1934>

notes

Примечания

1

«Без семьи» (фр.).

2

Искалеченный (фр.).

3

Полдень (фр.).

4

Бархатной лапкой (фр·).

5

Поздравления (нем.).

6

Слоновая кость (фр.).

7

Слоновая кость (нем.).

«Сиреневой рощи» (фр.).

9

В бесконечность (нем.).

10

Еще немножко! (нем.)

11

Не в жизнь, а в музыку (нем.).

12

Плоскостопия (нем.).

13

Зрачки (фр.).

14

Деревянной лошадке на палочке (нем.).

15

Молоточка в каморочке (нем.).

16

Здесь: изящный (фр.).

17

«Почему» (нем.).

Тождественностью (фр.).

19

Успокоительные (фр.).

20

Графин, сверкание (нем.).

21

Лис, ты украл гуся,
Сейчас же его отдай!
Сейчас же его отдай!
Иначе охотник придет с винтовкой,
Иначе охотник придет с винтовкой
И отправит тебя прямо в рай! (нем.)

22

Черт (нем.).

23

Но что с тобой? Ты совсем бледная! Да что с тобой? (фр.)·

24

Это Он (фр.).

25

«Черный Петер» (нем.).

26

Святой Антоний Падуанский, отыщи мне то, что я потеряла (фр.)

27

Но, маленькая славянка, это же одно из самых обычных искушений дьявола! (фр·).

28

Обычное (фр.)·

29

Народное наименование черта (примеч. М. Цветаевой).

«Ангел и грубиян» (нем.).

31

И даже шапочки не снял (нем.).

32

Ни огонь и ни угли
Не пылают так жарко,
Как любовь, хранимая в тайне.

33

Ни Rosen, ни Nelken
Не смогут помочь
Душе, тоскующей по неведомому морю.

34

Вонзи хрусталь зеркала мне в сердце… (нем.)

35

…Чтобы ты могла поверить
В верность мою, — (нем.).

Там наверху могилы тех,
Кто бегал по лугам.
Пастушок, мой, пастушок,
И тебя оплачут там! (нем.)

Божественной гордыней (фр.).

38

Поверженным (фр.).

До смерти мы будем Тебе верны,
До смерти Ты будешь нашим царем,
Под знамя Свое Ты нас призываешь,
И борясь за Тебя, Иисус, мы умрем… (фр.)

40

Не снисхожу (фр.).

41

Прекрасная глыба мрамора лежит, вдавленная в мостовую. Человек заурядный проходит поверху и вдавливает ее еще глубже. Благородное сердце извлекает глыбу из земли, очищает ее и создает изваяние, которое живет вечно. Будьте ваятелем собственной души, маленькая Славянка… (фр.).

42

Пушкин был светловолос и светлоглаз (примеч. М. Цветаевой.)

(примеч. М. Цветаевой).

Сестра Валерия Брюсова (примеч. М. Цветаевой).

45

Стража не спит! Пробило десять! (фр.)

Лифте (фр.).

Потерян! Великий Боже! Он молод! (нем.)

48

Бланманже — род желе из сливок, сахара и желатина (фр.).

49

— Милая Альфонсина, мне нужно написать письмо!

— Кому?

— Дайте мне, пожалуйста, бумагу (фр.).

50

О, я знаю, что мы будем делать. У меня есть очень маленькое любовное послание, только ты должна его перевести (фр.).

51

«Александр, как это плохо…» (фр.).

52

«Таким образом обмануть доверие…» (фр.).

53

Репетитор (фр.).

Богатый наследник (нем.).

Глупости (нем.).

Деревянной лошадке на палочке (нем.).

57

Когда людям нечего сказать друг другу, они играют в карты (нем.).

Букв.: натянутая на четырех булавках (фр.).

59

Называть вещи своими именами (фр.)·

«Живых людей» (фр.).

61

Битве цветов (фр.).

62

Весь, целиком (фр.).

63

Бессмыслица (фр.).

Quand c'est un caranture, c'est toujours un mauvais (Le Tigre) (примеч. М. Цветаевой). Перевод: «Что до характера, то он всегда плох» (Тигр).

65

Невыявленный смех (фр.).

От cherubin — херувим (фр.).

Лестницу (нем.).

Музыкальных упражнений (нем.).

69

«Приглашение к вальсу» (фр.).

Девочка спит, родители, не грустите (нем.).

«Песнь для Элизы» (нем.).

Гостиной (нем.).

73

Комнаты для больных (нем.).

Какой же кажусь, такой я стану (нем.)

75

И нет меж облаков небесных // Ни женских ликов, ни мужских (нем.).

Жемчужно-серое (фр.).

77

Гостиница (нем.).

«Храни тебя Бог, это было бы слишком прекрасно!
Храни тебя Бог, этому не суждено было быть!»

Башню (нем.).

Песочным пирожным (нем.).

81

Лифт (фр.).

82

Доброе утро, как поживаете? (ит.).

83

Прогулки по озеру (фр.)

Гильдесгеймский серебряный клад (нем.).

85

Передайте от меня привет Вашей милой и добросовестной дочурке (нем.).

Одеревенелость (фр.).

Локонами на висках (фр.).

88

Ныряние (фр.).

Ради Бога, дитя мое, не кричи так ужасно! (нем.).

Жаль (нем.)

Здесь: «непропеченное» лицо (нем.).

Здесь: подобострастие (фр.)

93

Мадемуазель Жанна Робер (фр.).

«Четыре сына Эймора» (фр.).

95

Кусок сала… кусок мяса (фр.).

96

Очень изящное, безукоризненно изящное, все самое изысканное, что ни на есть самое изысканное… 6 франков, 9 франков пятьдесят… 12 франков пятьдесят… 18 франков… (фр.).

А, есть еще одна, которую я забыла (фр.).

98

Ничего нет удобнее и изящнее. И совсем не дорого, мадам, сорок листов и сорок конвертов. Хорошо и выгодно (фр.).

99

Мадемуазель Жанне Робер в день русского Рождества — Ариадна (фр.).

100

Делают, не ведая того, ошибки такого сорта (фр.).

101

Жизненный инстинкт (нем.).

102

Все случилось — ничего не случилось (нем.).

103

Дорогая мадмуазель,

Мы напрасно ждем вас так долго. Каждый понедельник и каждую среду, четверг и субботу мы ждем вас, но вы все не приходите.

Мои уроки написаны и выучены, уроки Олега — тоже. Вы забыли наше приглашение на Рождественскую елку? Я думаю, что да, потому что вы не пришли к нам в поза-позапрошлый четверг, когда у нас был праздник. Я получила много книг: Поэмы Ронсара, сочинения Маро, Фаблио, роман о Лисе, роман о Розе и еще Песнь о Роланде. Вас ждут два подарка, от Олега и от меня.

Пишите нам, дорогая мадмуазель, когда вы сможете приехать к нам. Целуем вас.

Ариадна (фр.).

Пролить свет на это (нем.).

105

Я знаю, что она всегда ездит на маленьком медонском трамвайчике (фр.).

106

Но она умерла! — И вы не знали этого?? (фр.).

107

За два дня до Рождества… на плечах только маленькая шаль. «Но вы простудитесь, Жанна!» — и я натягивала рукава ей на руки… (фр.).

108

Что я сообщила вам об этом так грубо (фр.).

109

В ее маленьком хозяйстве (фр.).

110

Бедная Жанна!.. совсем не старая… Были друзья, называли друг друга Жанна, Сюзанна… (фр.)

111

Девушке такой умной, такой мужественной —…это она за ней присматривает… Это было большим ударом в ее жизни. Она могла выйти замуж, быть счастливой… но… (фр.).

112

Прекрасные дни вместе! Это был праздник (фр.).

113

Скрипка и флейта — Профессор Оперб (фр.).

Русских интеллигентов (фр.).

115

Это не к спеху (фр.).

116

Один момент мне послышался марш. Может быть, это была поэзия войны? Послышалось, что идут войска, звучат трубы, скачут кони… Это потому, что я музыкант. Это было прекрасно, прекрасно! (фр.).

117

Ведь тебе до вопрошающих нет дела, мягким взором глядишь ты на обремененных (нем.).

118

Душа и танец (фр.).

119

Верю ли я в Савойю? Да, как в царство небесное, не меньше, но не иначе (нем.).

120

Титул благодарности (фр.)

121

И тело — всего лишь из галантности, чтобы не испугать невидимое (нем.)

122

Кто твой ближний? Кому ты нужнее всего? (нем.).

123

Сестрица (фр.)

124

Мамаша (фр.)

125

Товарищество по несчастью (фр.)

126

Товарищи не по несчастию, а по опасности (фр.).

127

Товарищи по уязвленной гордости (фр.).

128

Бандероль (фр.).

129

Дама дает два франка (нем.).

130

Немецкий (искаж. нем. Deutsch).

131

Это китаец, это будет долгая история (фр.).

Лепетание (нем.).

133

Сорт дешевого угля.

Habile (фр.) — ловкий, умелый.

135

Полиция (фр.).

136

Страхование (фр.).

137

Вероятно, страховщик говорит: «Je passe annuellement» — «Я ежегодно делаю обход»

138

Славянскую душу (фр.).

139

В папахе (фр.).

140

Мы всегда развлекаемся вместе (фр.).

141

Здесь: отслужу в армии (фр.).

142

Неосуществленной мечты (фр.).

143

Рыжебородый (ит.).